

ХОРХЕ ЛУИС

БОРХЕС

АЛЕФ

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

АЛЕФ



*АСТ
МОСКВА*

УДК 821.134.2(7/8)
ББК 84 (7Арг)
Б82

Серия «Эксклюзивная классика»

Jorge Luis Borges
EL ALEPH

Перевод с испанского

Серийное оформление Е. Фerez

Печатается с разрешения наследницы автора
и литературного агентства The Wylie Agency (UK) Ltd.

Борхес, Хорхе Луис

Б82 Алф : [сборник; перевод с испанского] / Хорхе Луис
Борхес. — Москва: АСТ, 2015. — 221, [3] с. — (Эксклю-
зивная классика).

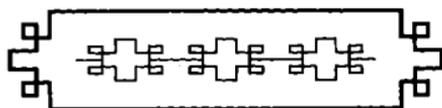
ISBN 978-5-17-083721-2

Один из лучших сборников Борхеса. Помимо заглавного «Алефа», в него вошли «Два царя и два их лабиринта», «Эмма Цунц» и другие жемчужины литературного наследия великого аргентинца.

В этих рассказах Борхес обращается к мотиву поиска – поиска смысла жизни, Бога, истины, высшего начала, человеческой души, любви, бессмертия, покоя. Впрочем, предмет поиска – не самое важное. Важно, что герои произведений Борхеса не просто задаются «проклятыми вопросами», но заставляют и читателя искать ответы.

УДК 821.134.2(7/8)
ББК 84 (7Арг)

© Maria Kodama, 1995
© Перевод. М. Былинкина, 2011
© Перевод. Ю. Ванников, 2011
© Перевод. Б. Дубин, 2011
© Перевод. В. Кулагина-Ярцева, 2011
© Перевод. Е. Лысенко, 2011
© Перевод. Л. Синянская, 2011
© Издание на русском языке AST Publishers, 2015



Бессмертный

Сесилии Инхеньерос

Solomon saith: «There is no new thing upon the earth». So that as Peato had an imagination, «that all knowledge was but remembrance»; so Solomon giveth his sentence, «that all novelty is but oblivion».

*Francis Bacon, «Essays», LVIII**

В Лондоне, в июне 1929 года, антиквар Жозеф Картафил из Смирны предложил княгине Люсенж шесть томов «Илиады» Попа (1715—

* Соломон рек: «Ничто не ново на земле». А Платон домыслил: «Всякое знание есть не что иное, как воспоминание»; так что Соломону принадлежит мудрая мысль о том, что всякое новое есть забытое старое. — *Фрэнсис Бэкон, «Опыты», LVIII (англ.)*.

1720) форматом в малую четверть. Княгиня приобрела книги и, забирая их, обменялась с антикваром несколькими словами. Это был, рассказывает она, изможденный, иссохший, точно земля, человек с серыми глазами и серой бородой и на редкость незапоминающимся чертами лица. Столь же легко, сколь и неправильно он говорил на нескольких языках; с английского довольно скоро он перешел на французский, потом — на испанский, каким пользуются в Салониках, а с него — на португальский язык Макао. В октябре княгиня узнала от одного приезжего с «Зевса», что Картафил умер во время плавания, когда возвращался в Смирну, и его погребли на острове Иос. В последнем томе «Илиады» находилась эта рукопись.

Оригинал написан на английском и изобилует латинизмами. Мы предлагаем дословный его перевод.

I

Насколько мне помнится, все началось в одном из садов Гекатомфилоса, в Створатых Фивах, в дни, когда императором был Диокле-

тиан. К тому времени я успел бесславно по-
воевать в только что закончившихся египетских
войнах и был трибуном в легионе, расквартиро-
ванном в Беренике, у самого Красного моря;
многие из тех, кто горел желанием дать разгу-
ляться клинку, пали жертвой лихорадки и злого
колдовства. Мавританцы были повержены;
земли, ранее занятые мятежными городами,
навечно стали владением Плутона; и тщетно
поверженная Александрия молила Цезаря о
милосердии; меньше года понадобилось леги-
онам, чтобы добиться победы, я же едва успел
глянуть в лицо Марсу. Бог войны обошел меня,
не дал удачи, и я, должно быть, с горя отпра-
вился через страшные безбрежные пустыни на
поиски потаенного Города Бессмертных.

Все началось, как я уже сказал, в Фивах, в
саду. Я не спал — всю ночь что-то стучалось
мне в сердце. Перед самой зарей я поднялся;
рабы мои спали, луна стояла того же цвета, что
и бескрайние пески вокруг. С востока прибли-
жался изнуренный, весь в крови всадник. Не
доскакав до меня нескольких шагов, он рухнул
с коня на землю. Слабым алчущим голосом
спросил он на латыни, как зовется река, чьи
воды омывают стены города. Я ответил, что

река эта — Египет и питается она дождями. «Другую реку ищу я, — печально отозвался он, — потаенную реку, что смывает с людей смерть». Темная кровь струилась у него из груди. Всадник сказал, что родом он с гор, которые высятся по ту сторону Ганга, и в тех горах верят: если дойти до самого запада, где кончается земля, то выйдешь к реке, чьи воды дают бессмертие. И добавил, что там, на краю земли, стоит Город Бессмертных, весь из башен, амфитеатров и храмов. Заря еще не занялась, как он умер, а я решил отыскать тот город и ту реку. Нашлись пленные мавританцы, под допросом палача подтвердившие рассказ того скитальца; кто-то припомнил елисейскую долину на краю света, где люди живут бесконечно долго; кто-то — вершины, на которых рождается река Пактол и обитатели которых живут сто лет. В Риме я беседовал с философами, полагавшими, что продлевать жизнь человеческую означает продлевать агонию и заставлять человека умирать множество раз. Не знаю, поверил ли я хоть на минуту в Город Бессмертных, думаю, тогда меня занимала сама идея отыскать его. Флавий, проконсул Гетулии, дал мне для этой цели две сотни солдат. Взял я с

собой и наемников, которые утверждали, что знают дорогу, но сбежали, едва начались трудности.

Последующие события совершенно запутали воспоминания о первых днях нашего похода. Мы вышли из Арсиное и ступили на раскаленные пески. Прошли через страну троглодитов, которые питаются змеями и не научились еще пользоваться словом; страну гарамантов, у которых женщины общие, а пища — льявятина; земли Авгилы, где почитают только Таргар. Мы одолели и другие пустыни, где песок черен и путнику приходится урывать ночные часы, ибо дневной зной там нестерпим. Издали я видел гору, что дала имя море-океану, на ее склонах растет молочай, отнимающий силу у ядов, а наверху живут сатиры, свирепые, грубые мужчины, приверженные к сладострастию. Невроятным казалось нам, чтобы эта земля, ставшая матерью подобных чудовищ, могла приютить замечательный город. Мы продолжали свой путь — отступать было позорно. Некоторые безрассудно спали, обратив лицо к луне — лихорадка сожгла их; другие вместе с загнившей в сосудах водой испили безумие и смерть. Начались побегі, а немного спустя — бунты.

Усмиряя взбунтовавшихся, я не останавливался перед самыми суровыми мерами. И без колебания продолжал путь, пока один центурион не донес, что мятежники, мстя за распятого товарища, замышляют убить меня. И тогда я бежал из лагеря вместе с несколькими верными мне солдатами. В пустыне, среди песков и бескрайней ночи, я растерял их. Стрела одного критянина нанесла мне увечье. Несколько дней я брел, не встречая воды, а может, то был всего один день, показавшийся многими из-за яростного зноя, жажды и страха перед жаждой. Я предоставил коню самому выбирать путь. А на рассвете горизонт ошетинился пирамидами и башнями. Мне мучительно грезился чистый, невысокий лабиринт: в самом его центре стоял кувшин; мои руки почти касались его, глаза его видели, но коридоры лабиринта были так запутаны и коварны, что было ясно: я умру, не добравшись до кувшина.

II

Когда я наконец выбрался из этого кошмара, то увидел, что лежу со связанными руками в продолговатой каменной нише, размерами

не более обычной могилы, выбитой в неровном склоне горы. Края ниши были влажны и отшлифованы скорее временем, нежели рукой человека. Я почувствовал, что сердце больно колотится в груди, а жажда сжигает меня. Я выглянул наружу и издал слабый крик. У подножия горы беззвучно катился мутный поток, пробиваясь через наносы мусора и песка; а на другом его берегу в лучах заходящего или восходящего солнца сверкал — то было совершенно очевидно — Город Бессмертных. Я увидел стены, арки, фронтоны и площади: город, как на фундаменте, покоился на каменном плато. Сотня ниш неправильной формы, подобных моей, дырявили склон горы и долину. На песке виднелись неглубокие колодцы; из этих жалких дыр и ниш выныривали нагие люди с серой кожей и неопрятными бородами. Мне показалось, я узнал их: они принадлежали к дикому и жестокому племени троглодитов, совершавших опустошительные набеги на побережье Арабского залива и пещерные жилища эфиопов; я бы не удивился, узнав, что они не умеют говорить и питаются змеями.

Жажда так терзала меня, что я осмелел. Я прикинул: песчаный берег был футами в трид-

цати от меня, и я со связанными за спиною руками, зажмурившись, бросился вниз по склону. Погрузил окровавленное лицо в мутную воду. И пил, как пьют на водопое дикие звери. Прежде чем снова забыться в бреду и затеряться в сновидениях, я почему-то стал повторять по-гречески: *«Богатые жители Зеллы, пьющие воды Эзена...»*

Не знаю, сколько ночей и дней прокатилось надо мной. Не в силах вернуться в пещеру, несчастный и нагой, лежал я на неведомом песчаном берегу, не противясь тому, что луна и солнце безжалостно играли моей судьбой. А троглодиты, в своей дикости наивные как дети, не помогали мне ни выжить, ни умереть. Напрасно молил я их умертвить меня. В один прекрасный день об острый край скалы я разорвал путы. А на другой день поднялся и смог выклянчить или украсть — это я-то, Марк Фламиний Руф, военный трибун римского легиона, — свой первый кусок мерзкого змеиного мяса.

Страстное желание увидеть Бессмертных, прикоснуться к камням Города сверхчеловеков, почти лишило меня сна. И будто проникнув в мои намерения, дикари тоже не спали: сперва я заметил, что они следят за мной; по-

том увидел, что они заразились моим беспокойством, как бывает с собаками. Уйти из дикарского поселения я решил в самый оживленный час, перед закатом, когда все вылезали из нор и щелей и невидящими глазами смотрели на заходящее солнце. Я стал молиться во весь голос — не столько в надежде на божественную милость, сколько рассчитывая напугать людское стадо громкой речью. Потом перешел ручей, перегороженный наносами, и направился к Городу. Двое или трое мужчин, таясь, последовали за мной. Они (как и все остальное племя) были низкорослы и внушали не страх, а отвращение. Мне пришлось обойти несколько неправильной формы котлованов, которые я принял за каменоломни; ослепленный огромностью Города, я посчитал, что он находится ближе, чем оказалось. Около полуночи я ступил на черную тень его стен, взрезавшую желтый песок причудливыми и восхитительными острями. И остановился в священном ужасе. Явившийся мне город и сама пустыня так были чужды человеку, что я даже обрадовался, заметив дикаря, все еще следовавшего за мной. Я закрыл глаза и, не засыпая, стал ждать, когда займется день.

Я уже говорил, что город стоял на огромной каменной скале. И ее круглые склоны были так же неприступны, как и стены города. Я валился с ног от усталости, но не мог найти в черной скале выступов, а в гладких стенах, похоже, не было ни одной двери. Дневной зной был так жесток, что я укрылся в пещере; внутри пещеры оказался колодец, в темень его пропасти низвергалась лестница. Я спустился по ней; пройдя путаницей грязных переходов, очутился в сводчатом помещении; в потемках стены были едва различимы. Девять дверей было в том подземелье; восемь из них вели в лабиринт и обманно возвращали в то же самое подземелье; девятая через другой лабиринт выводила в другое подземелье, такой же округлой формы, как и первое. Не знаю, сколько их было, этих склепов, — от тревоги и неудач, преследовавших меня, их казалось больше, чем на самом деле. Стояла враждебная и почти полная тишина, никаких звуков в этой путанице глубоких каменных коридоров, только шорох подземного ветра, непонятно откуда взявшегося; беззвучно уходили в расщелины ржавые струи воды. К ужасу своему, я начал свыкаться с этим странным миром; и не верил уже, что

может существовать на свете что-нибудь, кроме склепов с девятью дверьми и бесконечных разветвляющихся ходов. Не знаю, как долго я блуждал под землей, помню только: был момент, когда, мечась в подземных тупиках, я в отчаянии уже не помнил, о чем тоскую — о городе ли, где родился, или об отвратительном поселении дикарей.

В глубине какого-то коридора, в стене, неожиданно открылся ход, и луч света сверху издалека упал на меня. Я поднял уставшие от потемок глаза и в головокружительной выси увидел кружочек неба, такого синего, что оно показалось мне чуть ли не пурпурным. По стене уходили вверх железные ступени. От усталости я совсем ослаб, но принялся карабкаться по ним, останавливаясь лишь иногда, чтобы глупо всхлипнуть от счастья. И вот уже я различал капители и астрагалы, треугольные и округлые фронтоны, неясное великолепие из гранита и мрамора. И оказался вознесенным из слепого владычества черных лабиринтов в ослепительное сияние Города.

Я увидел себя на маленькой площади, вернее сказать, во внутреннем дворе. Двор окружало одно-единственное здание неправильной

формы и различной в разных своих частях высоты, с разномастными куполами и колоннами. Прежде всего бросалось в глаза, что это невероятное сооружение сработано в незапамятные времена. Мне показалось даже, что оно древнее людей, древнее самой земли. И подумалось, что такая старина (хотя и есть в ней что-то устрашающее для людских глаз) не иначе как дело рук Бессмертных. Сперва осторожно, потом равнодушно и под конец с отчаянием бродил я по лестницам и переходам этого путаного дворца. (Позже, заметив, что ступени были разной высоты и ширины, я понял причину необычайной навалившейся на меня усталости.) *Этот дворец — творение богов, подумал я сначала. Но, оглядев необитаемые покои, поправился: боги, построившие его, умерли. А заметив, сколь он необычен, сказал: построившие его боги были безумны.* И сказал — это я твердо знаю — с непонятым осуждением, чуть ли не терзаясь совестью, не столько испытывая страх, сколько умом понимая, как это ужасно. К впечатлению от глубокой древности сооружения добавились новые: ощущение его безграничности, безобразности и полной бессмысленности. Я только что выбрался из тем-

ного лабиринта, но светлый Город Бессмертных внушил мне ужас и отвращение. Лабиринт делается для того, чтобы запутать человека; его архитектура, перенасыщенная симметрией, подчинена этой цели. А в архитектуре дворца, который я осмотрел как мог, цели не было. Куда ни глянь, коридоры-тупики, окна, до которых не дотянуться, роскошные двери, ведущие в крошечную каморку или в глухой подземный лаз, невероятные лестницы с вывернутыми наружу ступенями и перилами. А были и такие, что лепились в воздухе к монументальной стене и умирали через несколько витков, никуда не приведя в навалившемся на купола мраке. Не знаю, точно ли все было так, как я описал; помню только, что много лет потом эти видения отравляли мои сны, и теперь не дознаться, что из того было в действительности, а что родило безумие ночных кошмаров. *Этот Город, подумал я, ужасен; одно то, что он есть и продолжает быть, даже затерянный в потаенном сердце пустыни, заражает и губит прошлое и будущее и бросает тень на звезды. Пока он есть, никто в мире не познает счастья и смысла существования. Я не хочу открывать этот город; хаос разноязыких слов, тигриная или воловья*

туша, кишащая чудовищным образом сплетающимися и ненавидящими друг друга клыками, головами и кишками, — вот что такое этот город.

Не помню, как я пробирался назад через сырые и пыльные подземные склепы. Помню лишь, что меня не покидал страх: как бы, пройдя последний лабиринт, не очутиться снова в омерзительном Городе Бессмертных. Больше я ничего не помню. Теперь, как бы ни силился, я не могу извлечь из прошлого ничего, но забыл я все, должно быть, по собственной воле — так, наверное, тяжело было бегство назад, что в один прекрасный день, не менее прочно забытый, я поклялся выбросить его из памяти раз и навсегда.

III

Те, кто внимательно читал рассказ о моих деяниях, вспомнят, что один человек из дикарского племени следовал за мною, точно собака, до самой зубчатой тени городских стен. Когда же я прошел последний склеп, то у выхода из подземелья снова увидел его. Он лежал и тупо чертил на песке, а потом стирал

цепочку из знаков, похожих на буквы, которые сняты во сне, и кажется, вот-вот разберешь их, но они сливаются. Сперва я решил, что это их дикарские письмена, а потом понял: нелепо думать, будто люди, не дошедшие еще и до языка, имеют письменность. Кроме того, все знаки были разные, а это исключало или уменьшало вероятность, что они могут быть символами. Человек чертил их, разглядывал, подправлял. А потом вдруг, словно ему опротивела игра, стер все ладонью и локтем. Посмотрел на меня и как будто не узнал. Но мною овладело великое облегчение (а может, так велико и страшно было мое одиночество), и я допустил мысль, что этот первобытный дикарь, глядевший с пола пещеры, ждал тут меня. Солнце свирепо палило, и, когда мы при свете первых звезд тронулись в обратный путь к селению троглодитов, песок под ногами был раскален. Дикарь шел впереди; этой ночью у меня зародилось намерение научить его распознавать, а может, даже и повторять отдельные слова. Собака и лошадь, размышлял я, способны на первое; многие птицы, к примеру, соловей цезарей, умели и второе. Как бы ни был груб и неотесан разум челове-

ка, он все же превышает способности существ неразумных.

Дикарь был так жалок и так ничтожен, что мне на память пришел Аргус, старый умирающий пес из «Одиссеи», и я нарек его Аргусом и захотел научить его понимать свое имя. Но, как ни старался, снова и снова терпел поражение. Все было напрасно — и принуждение, и строгость, и настойчивость. Неподвижный, с остановившимся взглядом, похоже, он не слышал звуков, которые я старался ему вдолбить. Он был рядом, но казалось — очень далеко. Словно маленький, разрушающийся сфинкс из лавы, он лежал на песке и позволял небесам совершать над ним оборот от предрассветных сумерек к вечерним. Я был уверен: не может он не понимать моих намерений. И вспомнил: эфиопы считают, что обезьяны не разговаривают нарочно, только потому, чтобы их не заставляли работать, и приписал молчание Аргуса недоверию и страху. Потом мне пришли на ум мысли еще более необычайные. Может, мы с Аргусом принадлежим к разным мирам; и восприятия у нас одинаковые, но Аргус ассоциирует все иначе и с другими предметами; и может, для него даже не существует предметов, а вместо них го-

ловокружительная и непрерывная игра кратких впечатлений. Я подумал, что это должен быть мир без памяти, без времени, и представил себе язык без существительных, из одних глагольных форм и несклоняемых эпитетов. Так умирал день за днем, а с ними — годы, и однажды утром произошло нечто похожее на счастье. Пошел дождь, неторопливый и сильный.

Ночи в пустыне могут быть холодными, но та была жаркой как огонь. Мне приснилось, что из Фессалии ко мне текла река (водам которой я некогда возвратил золотую рыбку), текла, чтобы освободить меня; лежа на желтом песке и черном камне, я слушал, как она приближается; я проснулся от свежести и густого шума дождя. Нагим я выскочил наружу. Ночь шла к концу; под желтыми тучами все племя, не менее счастливое, чем я, в восторге, исступленно подставляло тела животворным струям. Подобно жрецам Кибелы, на которых снизошла божественная благодать, Аргус стонал, вперив взор в небеса; потоки струились по его лицу, и то был не только дождь, но (как я потом узнал) и слезы. *Аргус*, крикнул я ему, *Аргус*.

И тогда, с кротким восторгом, словно открывая давно утраченное и забытое, Аргус сло-

жил такие слова: *Аргус, пес Улисса*. И затем, все так же не глядя на меня: *пес, выброшенный на свалку*.

Мы легко принимаем действительность, может быть, потому, что интуитивно чувствуем: ничто реально не существует. Я спросил его, что он знает из «Одиссеи». Говорить по-гречески ему было трудно, и я вынужден был повторить вопрос.

Очень мало, ответил он. Меньше самого захудалого рапсода. Тысяча сто лет прошло, должно быть, с тех пор, как я ее сложил.

IV

Все разъяснилось в тот день. Троглодиты оказались Бессмертными; мутный песчаный поток — той самой Рекой, что искал всадник. А город, чья слава прокатилась до самого Ганга, веков девять тому назад был разрушен. И из его обломков и развалин на том же самом месте воздвигли бессмысленное сооружение, в котором я побывал: не город, а пародия, нечто перевернутое с ног на голову и одновременно храм неразумным богам, которые правят миром, но о которых мы знаем только од-

но: они не похожи на людей. Это строение было последним символом, до которого снизошли Бессмертные; после него начался новый этап: придя к выводу, что всякое деяние напрасно, Бессмертные решили жить только мыслью, ограничиться созерцанием. Они воздвигли сооружение и забыли о нем — ушли в пещеры. А там, погрузившись в размышления, перестали воспринимать окружающий мир.

Все это Гомер рассказал мне так, как рассказывают ребенку. Рассказал и о своей жизни в старости, и об этом своем последнем странствии, в которое отправился, движимый, подобно Улиссу, желанием найти людей, что не знают моря, не приправляют мяса солью и не представляют, что такое весло. Целое столетие прожил он в городе Бессмертных. А когда город разрушили, именно он подал мысль построить тот, другой. Ничего удивительного: всем известно, что сначала он воспел Троянскую войну, а затем — войну мышей и лягушек. Подобно Богу, который сотворил сперва Вселенную, а потом Хаос.

Жизнь Бессмертного пуста; кроме человека, все живые существа бессмертны, ибо не знают о смерти; а чувствовать себя Бессмерт-

ным — божественно, ужасно, непостижимо уму. Я заметил, что при всем множестве и разнообразии религий это убеждение встречается чрезвычайно редко. Иудеи, христиане и мусульмане исповедуют бессмертие, но то, как они почитают свое первое, земное существование, доказывает, что верят они только в него, а все остальные, бесчисленные, предназначены лишь для того, чтобы награждать или наказывать за то, первое. Куда более разумным представляется мне круговорот, исповедуемый некоторыми религиями Индостана; круговорот, в котором нет начала и нет конца, где каждая жизнь является следствием предыдущей и несет в себе зародыш следующей и ни одна из них не определяет целого... Наученная опытом веков, республика Бессмертных достигла совершенства в терпимости и почти презрении ко всему. Они знали, что на их безграничном веку с каждым случится все. В силу своих прошлых или будущих добродетелей каждый способен на благостыню, но каждый способен совершить и любое предательство из-за своей мерзопакостности в прошлом или в будущем. Точно так же, как в азартных играх чет и нечет, выпадая почти поровну, уравниваются,

талант и бездарность у Бессмертных взаимно уничтожаются, подправляя друг друга; и может стать, безыскусно сложенная «Песнь о моем Сиде» — необходимый противовес для одного-единственного эпитета из «Эклог» или какой-нибудь сентенции Гераклита. Самая мимолетная мысль может быть рождена невидимым глазу рисунком и венчать или, напротив, зачинать скрытую для понимания форму. Я знаю таких, кто творил зло, что в грядущие века оборачивалось добром или когда-то было им во времена прошедшие... А если взглянуть на вещи таким образом, то все наши дела справедливы, но в то же время они — совершенно никакие. А значит, нет и критериев, ни нравственных, ни рациональных. Гомер сочинил «Одиссею»; но в бескрайних просторах времен, где бесчисленны и безграничны комбинации обстоятельств, не может быть, чтобы еще хоть однажды не сочинили «Одиссею». Каждый человек здесь никто, и каждый бессмертный — сразу все люди на свете. Как Корнелий Агриппа: я — бог, я — герой, я — философ, я — демон, я — весь мир, на деле же это утомительный способ сказать, что меня как такового — нет.

Этот взгляд на мир как на систему, где все обязательно компенсируется, повлиял на Бессмертных всемерно. Прежде всего они потеряли способность к состраданию. Я упоминал заброшенные каменоломни по ту сторону реки; один из Бессмертных свалился в самую глубокую; он не мог разбиться и не мог умереть, но жажда терзала его; однако прошло семьдесят лет, прежде чем ему бросили веревку. Не интересовала их и собственная судьба. Тело уподобилось покорному домашнему животному и обходилось раз в месяц подачкой из нескольких часов сна, глотка воды и жалкого куска мяса. Но не вздумайте низвести нас в аскеты. Нет удовольствия более полновластного, чем мыслить, и именно ему мы отдались целиком. Иногда что-нибудь чрезвычайное возвращало нас в окружающий мир. Как, например, в то утро — древнее, простейшее наслаждение: дождь. Но подобные сбои были чрезвычайно редки; все Бессмертные способны сохранять полнейшее спокойствие; один, помню, никогда не поднимался даже на ноги: птица свила гнездо у него на груди.

Одно из следствий этой доктрины, утверждающей, что нет на свете ничего, что не урав-

новешивалось бы противоположностью, имеет незначительную теоретическую ценность, однако именно оно привело нас к тому, что в начале, а может, в конце десятого века мы расселились по лицу земли. Вывод, к которому мы пришли, заключается в следующем: *есть река, чьи воды дают бессмертие; а следовательно, есть на земле и другая река, чьи воды бессмертие смывают.* Число рек на земле не безгранично; Бессмертный, странствуя по миру, в конце концов отведаст воды всех рек. Мы вознамерились найти эту реку.

Смерть (или память о смерти) наполняет людей возвышенными чувствами и делает жизнь ценной. Ощущая себя существами недолговечными, люди и ведут себя соответственно; каждое совершаемое деяние может оказаться последним; нет лица, чьи черты не сотрутся, подобно лицам, являющимся во сне. Все у смертных имеет ценность — невозвратимую и роковую. У Бессмертных же, напротив, всякий поступок (и всякая мысль) — лишь отголосок других, которые уже случались в затерянном далеке прошлого, или точное предвестие тех, что в будущем станут повторяться и повторяться до умопомрачения. Нет ничего,

что бы не казалось отражением, блуждающим меж никогда не устающих зеркал. Ничто не случается однажды, ничто не ценно своей невозвратностью. Печаль, грусть, освященная обычаями скорбь не властны над Бессмертными. Мы расстались с Гомером у ворот Танжера; кажется, мы даже не простились.

V

И я обошел новые царства и новые империи. Осенью 1066 года я сражался на Стэмфордском мосту, не помню, на чьей стороне — не то Гарольда, который там и нашел свой конец, не то Харальда Хардрада, в этой битве завоевавшего себе шесть или чуть более футов английской земли. В седьмом веке Хиджры, по мусульманскому летосчислению, в предместье Булак я записал четкими красивыми буквами на языке, который забыл, и алфавитом, которого не знаю, семь путешествий Синдбада и историю Бронзового города. В Самарканде, в тюремном дворе, я много играл в шахматы. В Биканере я занимался астрологией, и тем же я занимался в Богемии. В 1638 году я был в Коложваре, потом — в Лейпциге. В Абердине в

1714 году я выписал «Илиаду» Попа в шести томах; помню, частенько читал ее и наслаждался. Году в 1729-м мы спорили о происхождении этой поэмы с одним профессором риторики по имени, кажется, Джамбаттиста; его доводы показались мне непроверяемыми. Четвертого октября 1921 года «Патна», который вез меня в Бомбей, должен был встать в порту у эритрейского побережья*. Я сошел на берег, мне вспомнились другие утра, утра давних времен, тоже на Красном море, когда я был римским трибуном, а лихорадка, злые чары и бездействие косили солдат. Неподалеку от города я увидел прозрачный ручей; повинуясь привычке, я испил воды из того ручья. Когда же выбирался на берег, колючая ветка царапнула по ладони. Неожиданно боль показалась мне непривычно живой. Не веря своим глазам, счастливый, я молча наблюдал за бесценным чудом: капля крови медленно выступала на ладони. Я снова смертен, повторял я, снова похож на других людей. Ту ночь я спал до самого рассвета.

Год спустя я просмотрел эти страницы. Все, казалось бы, правда, однако в первой гла-

* В рукописи здесь вымарка, возможно, вычеркнуто название порта.

ве и в некоторых абзацах других глав мне почувствовалась фальшь. Возможно, виною тому — злоупотребление подробностями; такое, я заметил, случается с поэтами, и ложь отравляет все, ибо подробностями могут изобиловать дела, но не память... Однако полагаю, что я раскрыл и причину более глубокую. Изложу ее, пусть меня даже сочтут фантазером.

История, которую я рассказал, кажется нереальной оттого, что в ней перемешиваются события, происходившие с двумя различными людьми. В первой главе всадник хочет знать название реки, что омывает стены Фив; Фламиний Руф, ранее назвавший город Гекатомфилосом, говорит, что имя реки — Египет; ни одно из этих высказываний не принадлежит ему, они принадлежат Гомеру, который в «Илиаде» называет Фивы Гекатомфилосом, а в «Одиссее», устами Протея и Улисса, неизменно именует Нил Египтом. Во второй главе римлянин, отведав воды бессмертия, произносит несколько слов по-гречески; слова эти — также из Гомера, их можно отыскать в конце знаменитого перечня морских судов. Затем в головоломном дворце он говорит об осуждении, чуть ли не о «терзаниях совести»; эти слова также при-

надлежат Гомеру, который некогда изобразил подобный ужас. Эти разночтения меня обеспокоили; другие же, эстетического характера, позволили мне раскрыть истину. Они содержатся в последней главе; там написано, что я сражался на Стэмфордском мосту, что в Булаке изложил путешествия Синдбада-морехода и в Абердине выписал английскую «Илиаду» Попа. Там говорится *inter alia**: «В Биканере я занимался астрологией, и тем же я занимался в Богемии». Ни одно из этих свидетельств не ложно; однако знаменательно, что именно выделяется. Первое свидетельство, похоже, принадлежит человеку военному, но затем оказывается, что рассказчика занимают не воинские дела, а людские судьбы. Свидетельства, следующие за этим, еще более любопытны. Неясная, но простая причина вынудила меня остановиться на них; я это сделал, потому что знал: они полны смысла. Они не таковы в устах римлянина Фламиния Руфа. Но таковы в устах Гомера; удивительно, что Гомер в тринадцатом веке записывает приключения Синдбада, другого Улисса, и находит по прошествии многих столетий в северном царстве, где говорят на варварском языке,

* Между прочим (*лат.*).

то, что изложено в его «Илиаде». Что касается фразы, содержащей название Биканер, то видно, что она сложена человеком, искусственным в литературе, жаждущим (как и автор перечня морских судов) блеснуть ярким словом*.

Когда близится конец, от воспоминания не остается образа, остаются только слова. Нет ничего странного в том, что время перепутало слова, некогда значившие для меня что-то, со словами, бывшими не более чем символами судьбы того, кто сопровождал меня на протяжении стольких веков. Я был Гомером; скоро стану Никем, как Улисс; скоро стану всеми людьми — умру.

Постскрипtum 1950 года. Среди комментариев, вызванных к жизни вышеупомянутой публикацией, самый любопытный, хотя и не самый вежливый, библейски озаглавлен «A Coat of Many Colours»** (Манчестер, 1948) и написан ядовитым пером доктора Наума Кордо-

* Эрнесто Сабатто предполагает, что Джамбаттиста, обсуждавший происхождение «Илиады» с антикваром Картафилом, есть Джамбаттиста Вико; этот итальянец отстаивал мнение, будто Гомер — персонаж мифологический, подобно Плутону или Ахиллу.

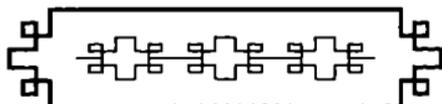
** Здесь: «Лоскутное покрывало» (англ.).

веро. Труд насчитывает около ста страниц. И в нем говорится о цитатах из греческих авторов и из текстов на вульгарной латыни; поминается Бен Джонсон, который определял своих соотечественников фразами из Сенеки, сочинение «*Virgilius evangelizans*»* Александра Росса, приемы Джорджа Мура и Элиота и, наконец, «повествование, приписываемое антиквару Жозефу Картафилу». В первой же его главе автор обнаруживает заимствования из Плиния («*Historia naturalis*», V, 8); во второй — из Томаса Де Куинси («*Writings*», III, 439); в третьей — из письма Декарта послу Пьеру Шаню; в четвертой — из Бернарда Шоу («*Back to Methuselah*»**, V). И на основании этих заимствований, или краж, делает вывод: весь документ не что иное, как апокриф.

На мой взгляд, вывод этот неприемлем. Когда близится конец, пишет Картафил, от воспоминания не остается образа, остаются только слова. Слова, слова, выскочившие из своих гнезд, изувеченные чужие слова, — вот она, жалкая милостыня, брошенная ему ушедшими мгновениями и веками.

* «Вергилий на евангельский лад» (лат.).

** «Назад к Мафусаилу» (англ.).



Мертвый

То, что сын пригорода Буэнос-Айреса, бедный драчун, не имеющий иных доблестей, кроме храбрости и самолюбия, приживется на дальних конских пастбищах у границы с Бразилией и сделается предводителем контрабандистов, кажется вещью абсолютно невыносимой. Но тем, кто так думает, я хочу рассказать о судьбе Бенхамина Оталоры, который, наверное, уже предан забвению в квартале Бальванера и который умер неподалеку от Риу-Гранди-ду-Сул от пули, как и следовало ожидать. Мне неизвестны детали его авантурной истории. Когда я буду лучше осведомлен, моя повесть станет точной и полной. А пока, может быть, пригодится это краткое изложение.

Бенхамину Оталоре в 1891-м исполняется девятнадцать лет. Это парень с узким лбом, с ясными честными глазами и баскским упрямством. Один удачливый поединок заставляет его уверовать в свои силы. Он отнюдь не взволнован кончиной противника и надобностью срочно бежать из отечества. Местный каудильо снабжает его запиской к некоему Асеведо Бандейре, там, в Уругвае. Оталора садится в лодку, гребет сквозь бурю, под раскатами грома. На следующий день он уже бродит по Монтевидео, отгоняя грусть или, может быть, вовсе о ней не ведая. Асеведо Бандейры нигде не видно. К полуночи у винной стойки в одной из лавок на Пасодель Молино перед ним разгорается ссора погонщиков. Блещет нож. Оталора не знает, кто прав и кто виноват, но его опьяняет запах опасности, как других опьяняют карты и музыка. Он бросается в драку и парирует ловкий удар пеона, предназначенный человеку в пончо и в темной шляпе, который оказывается Асеведо Бандейрой. (Оталора, узнав об этом, рвет письмо в клочья, ибо предпочитает быть обязанным только самому себе.) Асеведо Бандейра силен и крепок, но оставляет обманчивое впечатление сутулого; в его

всегда настороженном лице видятся негр, еврей и индеец, в повадках — обезьяна и тигр. Шрам через щеку и лоб — еще один яркий штрих его внешности, впрочем, как и черная щетка усов.

Ссора — под воздействием или по вине спиртного — прекращается так же внезапно, как начинается. Оталора пьет вместе с погонщиками, затем с ними идет на гулянье, затем — в дом в Старом городе, уже на восходе солнца. В заднем патио на голой земле люди устраиваются на ночлег, положив седла под голову. Невольно Оталора сравнивает эту ночь с предыдущей; теперь он среди приятелей, теперь под ногами твердая почва. Его, правда, чуть тревожат угрызения совести: нет у него тоски по Буэнос-Айресу. Он проспал бы до самой заутрени, но его будит тот же сельчанин, который, выпив лишнего, напал на Бандейру. (Оталора вспоминает, что позже этот пеон вместе со всеми пил и гулял ночь напролет, а Бандейра дал ему место рядом с собой и угощал до потери сознания.) Человек говорит, что патрон хочет его видеть. В своеобразном кабинете — с выходом прямо в подъезд (Оталора никогда не видел подъезд с боковыми дверями) — его ждет

Асеведо Бандейра вместе с розовокожей и рыжеволосой надменной женщиной. Бандейра хвалит его, протягивает ему рюмку каньи и опять повторяет, что он — храбрый парень, и предлагает идти на Север вместе со всеми перегонять табуны. Оталора соглашается. Утром он уже в пути, направляясь в Такуарембо.

И начинается для Оталоры совсем новая жизнь, жизнь с зорями во всю ширь степи и с тяжкими днями, пахнущими конским потом. Такая жизнь ему незнакома и порою жестока, но она у него в крови, ибо так же как другие народы почитают и чувствуют море, так и мы (в том числе человек, приводящий это сравнение) сердцем влечемся к бескрайней равнине, гулко звенящей под копытами лошади. Оталора вырос в квартале возчиков и свежевателей; потому и года не проходит, как он становится гаучо. Обучается крепко сидеть в седле, загонять дикие табуны, свежевать туши, бросать лассо, обрывающее бег, и болеадоры, сваливающие с ног; обучается не поддаваться сну и холоду, ветру и солнцу, гнать скот с криком и посвистом.

Только однажды в пору своего ученичества видит он Асеведо Бандейру, но всегда ощущает

его присутствие, потому что быть «человеком Бандейры» — значит быть тем, кого чтят и боятся, и потому что, кто бы ни превзошел даже самого себя, гаучо утверждает: а у Бандейры получается лучше. Говорят, Бандейра родился на том берегу Куарейма, в Риу-Гранди-ду-Сул. Это, казалось бы, унижительное — в глазах гаучо — обстоятельство тем не менее его возвышает, одарив тайнами дикой сельвы, устрашающих топей, путаных и почти бесконечных тропок. Со временем Оталора видит, что занятия Бандейры многообразны, а основное из них — контрабанда. Быть погонщиком — значит оставаться прислужником. И Оталора решает сделаться контрабандистом. Двум из его товарищей предстояло однажды ночью пересечь границу и вернуться с партией каньи. Оталора одного из них вызывает на ссору, ранит и отправляется вместо него. Движет им честолюбие, смешанное с неосознанным чувством преданности. Пусть до хозяина дойдет наконец (думает он), что я стою побольше его уругвайцев, всех, вместе взятых.

Проходит еще один год, прежде чем Оталора снова оказывается в Монтевидео. Они едут берегом, дальше — по городу (который

кажется Оталоре колоссальным) и добираются до жилища хозяина. Люди складывают седла и сбрую в заднем патио. Дни идут, но Оталора не видит Бандейру. Поговаривают втихомолку, что ему нездоровится. Негр то и дело бегаёт вверх, в его спальню, с мате и чайником. Как-то вечером эти хлопоты препоручают Оталоре. Он чувствует себя чуть униженным, но доволен.

В спальне не убрано и сумеречно. Есть там балкон, выходящий на запад; есть длинный стол с живописною грудой хлыстов, кнутовищ, поясов, всяких ножей и ружей; есть там и тусклое старое зеркало. Бандейра лежит на спине, спит и стонет. Луч заходящего солнца мягко очерчивает его лицо. Светлое широкое ложе делает его меньше, темнее. Оталора замечает белые волосы, слабость, усталость, борозды прожитых лет. Его возмущает, что ими командует этот старик. Он думает, что можно одним ударом разделаться с ним. Тут видит в зеркале — кто-то входит. Это женщина с рыжими косами. Она полуодета и боса и смотрит на него холодно, с любопытством. Бандейра приподнимается. Пока он спрашивает о сельской жизни и опустошает мате — один за другим, его

пальцы гладят волосы женщины. Наконец Оталоре позволено выйти.

Через несколько дней хозяин велит им ехать на Север. Они добираются до одинокой усадьбы, какие часто встречаются на бескрайней равнине. Ни деревья, ни речка ее не живят, а солнце нещадно калит и утром и вечером. Рядом — каменные коррали для лошадей, отошавших и неухоженных. «Вздохи» — так прозывается эта усадьба.

Оталора слышит в кругу погонщиков, что Бандейра скоро прибудет из Монтевидео. Спрашивает зачем. Объясняют: есть, мол, тут один чужеземец, заделавшийся гаучо да желающий выйти в большие начальники. Оталора видит, что это шутка, но ему нравится, что подобная шутка уже возможна. Позже он слышит, что Бандейра поссорился с представителем власти и тот отказался от его услуг. Это нравится Оталоре.

Прибывают ящики с огнестрельным оружием, прибывают серебряный таз с кувшином для туалета женщины, прибывают занавеси из вышитой камчи; прибыл однажды утром из-за дальних холмов мрачный всадник с густой бородой и в пончо. Зовут его Ульпиано Суарес,

он — капанга, то есть телохранитель Асеведо Бандейры. Говорит неохотно, с бразильским акцентом. Оталора не знает, к чему отнести его замкнутость — к неприязни, презрению или просто невежеству. Но зато он знает — чтобы осуществить замысел, надо заручиться дружбой Суареса.

А потом в жизнь Бенхамина Оталоры входит гнедая лошадь с черным хвостом и черной гривой, приведенная с юга Асеведо Бандейрой. Сбруя украшена серебряными бляшками, а подседельник оторочен тигровым мехом. Эта лихая лошадь — символ могущества хозяина, и потому она стала предметом зависти парня, который возжелал еще — зло, неотступно — женщину с розовой кожей. Женщина, сбруя и лошадь — таковы принадлежности и дополнения человека, с которым он хочет покончить.

Здесь история усложняется и усугубляется. Бандейра обладает дьявольским умением подавлять и сбивать человека с толку, ведя разговор то всерьез, то в шутку. Оталора намерен использовать этот его метод общения с людьми при решении своей трудной задачи. Он намерен мало-помалу вытеснить Асеведо Бандейру. Участвуя в общих опасных делах, он добивает-

ся дружбы Суареса. И поверяет ему свой план. Суарес обещает помочь. Многие потом происходит, я знаю лишь кое-какие факты. Оталора не повинуется Бандейре, обходит, извращает и забывает его приказы. Кажется, вся вселенная принимает участие в заговоре и ускоряет развязку. Однажды пополудни в степи близ Такуарембо завязывается перестрелка с людьми из Риу-Гранди. Оталора занимает место Бандейры и ведет уругвайцев вместо хозяина. Пуля ему пробивает плечо, но тем вечером Оталора возвращается во «Вздохи» на гнедой лошади хозяина, тем вечером его кровь пачкает тигровый мех, и той ночью он спит с розовокожей женщиной. В других рассказах не совпадает порядок всех этих событий и не указывается, что они случились все в один день.

Бандейра номинально считается предводителем. Он отдает приказы, которые не выполняются. Бенхамин Оталора его не трогает, испытывая к нему одновременно и презрение и жалость.

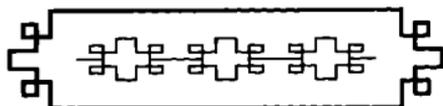
Последняя сцена действия происходит во время пирушки в ночь на 1894-й. Этой ночью люди из «Вздохов» пьют будоражащие напитки и едят жареного барана. Кто-то старательно и

нескончаемо брэнчит на гитаре милонгу. Во главе стола пьяный Оталора, ликуя и радуясь, чувствует себя на седьмом небе; эта головокружительная высь — символ его неодолимого рока. Бандейра угрюмо сидит среди криков, дозволяя литься ночному веселью. Когда колокол пробил двенадцать, он поднимается, словно о чем-то вспомнил. Встает и тихо стучится в дверь к женщине. Она сразу же открывает, словно ждала сигнала. Выходит, полуодета и боса. Проникновенным, елейным голосом патрон ей приказывает:

— Коли вы с портеньо друг друга так любите, награди его поцелуем сейчас же, у всех на виду.

Иначе грозит учинить расправу. Женщина медлит, но два человека подхватывают ее под руки и швыряют к Оталоре. Обливаясь слезами, она целует ему грудь и лицо. Ульпиано Суарес вытаскивает револьвер. Оталора успевает понять перед смертью, что его с самого начала предали, что он был заранее приговорен, что ему разрешили любовь, власть и триумф потому, что уже считали мертвым, потому, что для Бандейры он был уже мертв.

Суарес стреляет почти с презрением.



Богословы

Разорив сад, осквернив чаши и алтари, гунны верхом на лошадях ринулись в монастырскую библиотеку, изорвали в клочья непонятные для них книги и с бранью сожгли их, видимо, опасаясь, что в буквах таятся оскорбления их богу, кривой железной сабле. Стог рели палимпсесты и кодексы, но внутри костра, среди пепла осталась почти невредима двенадцатая книга «Civitas Dei»*, где повествуется, что Платон в Афинах учил, будто в конце веков все возродится в прежнем своем виде и он будет здесь, в Афинах, перед той же аудиторией, снова проповедовать это же учение. К пощаженному огнем тексту относи-

* «О Граде Божиим» (лат.).

лись с особым пиететом, и те, кто его читал и перечитывал в отдаленной этой провинции, и думать забыли о том, что автор упомянул это учение, лишь чтобы более основательно его опровергнуть. Век спустя Аврелиан, коадьютор Аквилеи, узнал, что на берегах Дуная недавно возникшая секта «монотонов» (называвшихся также «ануляры») исповедует веру в то, что история — круг и нет ничего, что не существовало бы прежде и не будет существовать в будущем. В горных областях Колесо и Змея вытеснили Крест. Страх овладел всеми, но утешением послужил слух, что Иоанн Паннонский, снискавший известность трактатом о седьмом атрибуте Бога, готовится сокрушить мерзостную ересь.

Аврелиана эти вести огорчили, особенно последняя. Он знал, что в богословских материях любое новое слово сопряжено с риском, но затем рассудил, что тезис о круговом времени слишком необычен, слишком удивителен и посему риск тут невелик. (Опасаться надо тех ересей, которые можно спутать с ортодоксией.) Все же ему было неприятно вмешательство — почти наглое — Иоанна Паннонского. Двумя годами раньше сей муж в просторном

сочинении «De septima affectione Dei sive de aeternitate»* узурпировал тему из области Аврелиана; теперь же, словно проблема времени была в его ведении, он собирался наставить на путь истинный — возможно, аргументами Прокруста, противоядиями пострашнее, чем сам яд Змеи, — этих ануляров... В ту ночь Аврелиан, листая древний диалог Плутарха об упадке оракулов, обнаружил в двадцать девятом параграфе насмешку над стойками, предполагавшими существование бесконечного множества миров, с бессчетными солнцами, лунами, Аполлонами, Дианами и Посейдонами. Свою находку Аврелиан счел счастливым предзнаменованием: он решил опередить Иоанна Паннонского и сокрушить еретиков, чтящих Колесо.

Иногда мужчина добивается любви женщины, чтобы забыть о ней, чтобы больше о ней не думать; так и Аврелиану хотелось превзойти Иоанна Паннонского, чтобы избавиться от неприязни, которую испытывал к нему, но отнюдь не для того, чтобы причинить ему зло. Сама работа над сочинением, построение силлогизмов и придумывание едких выпадов, все

* «О седьмой любви Бога, или о вечности» (лат.).

эти «nego»* и «autem»** и «nequamquam»*** снимали раздражение, помогали забыть о неприязни. Он строил длинные, запутанные периоды, загроможденные вставными предложениями, в которых небрежность слога и солецизмы были как бы выражением презрения. Неблагозвучность он сделал своим орудием. Предвидя, что Иоанн Паннонский будет сокрушать ануляров в пророчески-торжественном тоне, Аврелиан, дабы избежать сходства, избрал тон издевки. Августин писал, что Иисус — это прямой путь, спасающий нас от кругов лабиринта, в коем блуждают безбожники: Аврелиан, как старательный ученик, сравнил их с Иксионом, с печенью Прометея, с Сизифом, с фиванским царем, увидевшим два солнца, с заиканьем, с белкой, с зеркалом, с эхом, с мулами у нории и с двурогими силлогизмами. (Языческие легенды все еще жили, низведенные до уровня стилистических украшений.) Подобно всякому владельцу библиотеки, Аврелиан чувствовал вину, что не знает ее всю; это противоречивое чувство побудило его воспользоваться

* Отрицаю (*лат.*).

** С другой стороны (*лат.*).

*** Никоим образом (*лат.*).

многими книгами, как бы таившими упрек в невнимании. Так, он сумел вставить пассаж из «De principiis»* Оригена, опровергающий мнение, будто Иуда Искарriot снова предаст Господа, а Павел будет в Иерусалиме снова присутствовать при мученической гибели Стефана, и еще другой пассаж из «Academica prіoga»** Цицерона, где высмеяны люди, воображающие, будто в то время, когда он беседует с Лукуллом, бесконечное множество других Лукуллов и других Цицеронов говорят в точности то же самое в бесчисленных мирах, подобных нашему. Вдобавок Аврелиан обрушил на монотонно упомянутый текст Плутарха и свое негодование по поводу того, что, мол, на язычника *lumen naturae**** оказал большее действие, чем на них слово Божье. Труд этот занял у него девять дней, а на десятый ему вручили перевод опровержения, сочиненного Иоанном Паннонским.

Оно было почти смехотворно кратким — Аврелиан взглянул на него с презрением, а затем со страхом. В первой части содержалось

* «О началах» (лат.).

** «Первые академики» (лат.).

*** Свет природы (лат.).

толкование заключительных стихов девятой главы Послания к евреям, где сказано, что Иисус не приносил себя в жертву многократно от начала мира, но совершил это однажды к концу веков. Во второй части было приведено библейское упоминание о тщетном многословии язычников (Мф 6:7) и то место из седьмой книги Плиния, где говорится, что во всей вселенной не найти двух одинаковых лиц. Точно так же, заявлял Иоанн Паннонский, не найти и двух одинаковых душ, и самый гнусный грешник столь же драгоценен, как кровь, ради него пролитая Иисусом Христом. Поступок одного человека, утверждал он, имеет больше веса, чем все девять концентрических небес, и воображать, будто он может исчезнуть, а потом возникнуть снова, — значит проявить вопиющее легкомыслие. Время не восстанавливает то, что мы утратили: вечность хранит это для райского блаженства, но также для огня адова. Трактат был написан ясно и всеобъемлюще — казалось, он сочинен не конкретной личностью, но как бы «всяким человеком» или — быть может — всем человечеством.

Аврелиан испытал острое, почти физическое чувство унижения. Ему захотелось уничто-

жить или переделать свой труд, но затем, движимый обозленной честностью, он отправил его в Рим, не изменив ни одной буквы. Несколько месяцев спустя, когда собрался Пергамский собор, опровергнуть заблуждения монотонов поручили (как и следовало ожидать) Иоанну Паннонскому; его ученого, сдержанного по тону опровержения оказалось достаточно, чтобы ересиарха Евфорбия осудили на сожжение. «Это уже происходило и произойдет снова, — сказал Евфорбий. — Вы возжигаете не костер, но огненный лабиринт. Если бы здесь соединились все костры, на которые я восходил, они не уместились бы на земле и ангелы ослепли бы. И это я говорил неоднократно». Потом он стал кричать, потому что огонь добрался до него.

Колесо пало, побежденное Крестом*, однако Аврелиан и Иоанн продолжали свою тайную войну. Оба сражались в одном и том же стане, оба жаждали той же награды, воевали против того же врага, но Аврелиан не мог написать ни слова, за которым не таилось бы безответное стремление превзойти Иоанна. Его

* В рунических крестах переплетены и сочетаются оба враждебных символа.

страдания оставались невидимы — если тексты меня не обманывают, имя «другого» ни разу не появляется во многих томах Аврелиана, собранных в «Патрологии» Миня. (От сочинений Иоанна дошли всего-навсего двадцать слов.) Оба не одобряли анафем, провозглашенных вторым Константинопольским собором, оба осуждали ариан, отрицавших божественную сущность Сына, оба подтверждали ортодоксальность «Христианской топографии» Космы, который учит, что Земля, подобно еврейской скинии, имеет форму четырехугольника. На беду, во всех четырех углах земли объявилась другая, бурно ширившаяся ересь. Родившись в Египте или Азии (свидетельства тут расходятся, и Буссе не желает принять доводы Гарнака), она заразила восточные провинции и воздвигла свои капища в Македонии, в Карфагене и в Трире. Казалось, она свирепствует повсеместно, — говорили, что в Британском епископстве перевернули распятия вверх ногами, а в Цезарее образ Господа заменили зеркалом. Эмблемами новых схизматиков были зеркало и обол.

Истории они известны под разными именами (спекуляры, абисмалы, каиниты), но са-

мым общепринятым было «гистрионы», данное им Аврелианом и дерзостно ими подхваченное. Во Фригии их называли «симулякры», так же и в Дардании. Иоанн Дамаскин именовал их «формы» — тут следует заметить, что этот пассаж не признан Эрфьордом. Нет такого ересоведа, который бы с изумлением не общал об их чудовищных обычаях. Многие гистрионы проповедовали аскетизм — некоторые увечили себя, подобно Оригену, другие жили под землею, в клоаках, иные вырывали себе глаза; иные («навуходоносоры» из Нитрии) «ели траву, как волы, и волосы выросли у них, как у орла». От умерщвления плоти и самоистязания они нередко переходили к преступлению, в некоторых общинах процветало воровство, в иных убийство, в иных содомия, кровосмешение и скотоложество. Все они были богохульники, поносили не только христианского Бога, но даже таинственных богов своего пантеона. Они сочиняли священные книги, утрату которых оплакивают ученые. Сэр Томас Браун писал около 1658 года: «Время уничтожило горделивые гистрионические Евангелия, но не Оскорбления, коим было подвергнуто их Нечестие»; Эрфьорд предпо-

ложил, что эти «оскорбления» (сохранившиеся в одном греческом кодексе) — они-то и суть утраченные Евангелия. Это кажется непонятным, если не знать космологию гистрионов.

В герметических книгах сказано: то, что есть внизу, подобно тому, что есть вверху, а то, что есть вверху, подобно тому, что есть внизу; в «Зогаре» говорится, что мир нижний — это отражение мира верхнего. Гистрионы основывали свое учение на извращении этой мысли. Они ссылались на Матфея 6:12 («Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим») и 11:12 («Царство небесное силой берется») в доказательство того, что земля воздействует на небо, и еще приводили из I послания к Коринфянам 13:12 («Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло») как подтверждение того, что все нами видимое — ложь. Возможно, под влиянием монотонов они полагали, будто всякий человек — это два человека, и истинный из них — тот, другой, на небе. Также воображали они, что наши поступки отбрасывают неистребимое обратное отражение — стало быть, если мы бодрствуем, тот, другой, спит; если блудим, другой целомудрен; если грабим, другой честен. После смерти мы со-

единимся с ним и будем им. (Какой-то отголосок этих учений есть у Блуа.) Другие гисторионы считали, что миру придет конец, когда исчерпается число его возможностей, и, поскольку повторений быть не может, праведник должен исключить (то есть совершить) наигнуснейшие дела, дабы таковые не запятнали будущего и дабы ускорить пришествие царства Иисусова. Это положение отрицали другие секты, утверждавшие, что в каждом человеке должна совершиться история всего мира. Большинству, как Пифагору, надлежит пройти через переселение в многие тела, прежде чем они получают освобождение; другие, протеики, «за срок одной жизни суть львы, драконы, кабаны, вода и дерево». Демосфен сообщает об очищении грязью, которому подвергали посвящаемых в орфические мистерии; подобно этому, протеики искали очищения злом. Они полагали, как Карпократ, что никто не выйдет из темницы, пока не отдаст последней полушки (Лк 12:59), и обычно обольщали кающихся еще другим стихом: «Я пришел для того, чтоб имели жизнь, и имели с избытком» (Ин 10:10). Говорили они также, что не быть злодеем — сатанинская гордыня... Множество

разноречивых мифологий придумали гистрионы: одни призывали к аскетизму, другие к распутству, и все — смущали умы. Феопомп, гистрион из Береники, отрицал все легенды: он утверждал, что всякий человек — это орган, проецируемый божеством, дабы ощущать мир.

Еретики Аврелианова диоцеза принадлежали к тем, которые заявляли, что повторений во времени не бывает, а не к тем, которые утверждали, что всякий поступок отражается в небесах. Это обстоятельство было необычным, и в одном докладе римским властям Аврелиан о нем упомянул. Прелат, которому отправлял он это донесение, был духовником императрицы; все знали, что трудная его должность была сопряжена с запретом предаваться интимным радостям спекулятивного богословия. Но секретарь прелата — прежде коллега Иоанна Паннонского, ныне с ним враждовавший, — имел славу дотошного исследователя ересей; Аврелиан к докладу добавил изложение гистрионической ереси, встречавшейся в маленьких монастырях Генуи и Аквилеи. Написав несколько абзацев, он собирался изложить ужасный тезис, что нет двух одинаковых мгновений, и тут перо его остановилось. Он не

мог найти нужную формулировку. Поучения новой ереси («Хочешь увидеть то, чего глаза человеческие не видели? Посмотри на луну. Хочешь услышать то, что уши не слышали? Послушай крик птицы. Хочешь дотронуться до того, чего не трогала рука человека? Потрогай землю. Истинно говорю, что Бог еще не создал мир») были чересчур напыщенными и метафоричными для пересказа. И вдруг в уме его возникло предложение из двадцати слов. Он радостно его записал, и тотчас же его кольнуло подозрение, что формулировка эта — не его. На другой день он вспомнил, что прочитал ее много лет назад в «Adversus annulares»*, трактате Иоанна Паннонского. Он проверил цитату — да, она была там. Аврелианом овладели мучительные колебания. Изменить или убрать эти слова означало бы ослабить выразительность; оставить их будет плагиатом у ненавистного ему человека; указать источник будет доносом. Он воззвал к небесам. Под вечер следующего дня его ангел-хранитель продиктовал компромиссное решение. Аврелиан те слова сохранил, но сопроводил их таким предупреждением: «То, о чем ныне брешут ереси-

* «Против ануляров» (лат.).

архи, дабы смутить веру, сказал в нашем веке некий ученейший муж, более по недомыслию, нежели из греховности». Потом случилось то, чего он опасался, чего ждал, чего нельзя было предотвратить. Аврелиану пришлось открыть, кто этот муж. Иоанн Паннонский был обвинен в приверженности к ереси.

Четыре месяца спустя кузнец с Авентина, обольщенный лживыми уверениями гистрионов, взвалил на плечи своему маленькому сыну огромный железный шар, чтобы его двойник взлетел ввысь. Ребенок погиб. Ужас, вызванный этим преступлением, обязал судей Иоанна к неукоснительной строгости. Тот не пожелал отречься от своих слов и повторял, что отрицание его мнения ведет к губительной ереси монотонов. Он не понимал (или не хотел понимать), что говорить о монотонах бессмысленно — о них давно забыли. С упрямством, отчасти старческим, он щедро приводил наиболее блестящие периоды из прежнего своего полемического труда, но судьи даже не слушали того, чем некогда восхищались. Иоанну следовало постараться очистить себя от малейшего подозрения в гистрионизме, а он доказывал, что мысль, за которую его обвиня-

ют, строго ортодоксальна. Он спорил с людьми, от решения которых зависела его судьба, и еще допустил величайшую оплошность — спорил с блеском и иронией. Двадцать шестого октября, после обсуждения, длившегося три дня и три ночи, его приговорили к смерти на костре.

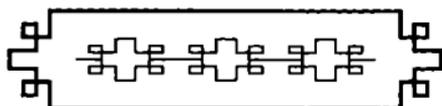
Аврелиан присутствовал при казни — отказаться означало бы признать себя виновным. Местом казни был холм, на зеленой вершине которого стоял глубоко вкопанный в землю столб, обложенный охапками дров. Чиновник прочитал решение трибунала. Под лучами полуденного солнца Иоанн Паннонский лежал лицом в пыли, издавая звериный вой. Он цеплялся за землю, но палачи схватили его, раздели и наконец привязали к столбу. На голову ему надели пропитанный серой венок из соломы, к груди привязали экземпляр зловредной книжицы «Adversus annulares». Накануне ночью прошел дождь, дрова горели плохо. Иоанн Паннонский молился по-гречески, потом на незнакомом языке. Пламя костра уже обволакивало его, когда Аврелиан решился поднять глаза. Огненные языки на миг замерли — Аврелиан в первый и последний раз увидел лицо

ненавистного человека. Оно ему напомнило кого-то, но он не мог сообразить кого. Потом огонь закрыл все, потом тот кричал, и казалось, будто кричит сам костер.

Плутарх сообщает, что Юлий Цезарь оплакивал гибель Помпея. Аврелиан гибели Иоанна не оплакивал, но почувствовал то, что чувствует человек, исцелившийся от неизлечимой болезни, ставшей частью его жизни. В Аквилее, в Эфесе, в Македонии провел он долгую череду лет. Он устремлялся к неприветливым границам империи, в глухие болота и отшельнические пустыни, дабы одиночество помогло ему постигнуть его жребий. Как-то в мавританском шатре, среди ночи, гремевшей львиным рыком, он перебирал в уме сложное обвинение, предъявленное Иоанну Паннонскому, и в энный раз соглашался с приговором. Однако оправдать свой лицемерный донос было труднее. В Русаддире он произнес теперь уже неуместную проповедь «Светоч светочей, возженный в плоти отступника». В Гибернии, в келье окруженного лесами монастыря, когда ночь близилась к рассвету, он вдруг услышал шум дождя. Ему вспомнилась римская ночь, в которую он так же внезапно услышал дробный

шум капель. В полдень молния зажгла деревья, и Аврелиан смог умереть той же смертью, что Иоанн.

Финал этой истории можно пересказать лишь метафорами, ибо он происходит в Царстве Небесном, где времени не существует. Быть может, следовало бы сказать, что Аврелиан беседовал с Богом и что Бог так мало интересуется религиозными спорами, что принял его за Иоанна Паннонского. Однако это содержало бы намек на возможность путаницы в божественном разуме. Вернее будет сказать по-иному: в раю Аврелиан узнал, что для непостижимого божества он и Иоанн Паннонский (ортодокс и еретик, ненавидящий и ненавидимый, обвинитель и жертва) были одной и той же личностью.



История война и пленницы

На странице 278 книги «Поэзия» (Бари, 1942) Кроче, излагая латинский текст историка Петра Диакона, рассказывает о судьбе Дроктулфта и приводит посвященную ему эпитафию; и то и другое меня необычайно взволновало, и позже я понял почему. Дроктулфт был воином-лангобардом, который во время осады Равенны бросил своих и умер, защищая город, против которого перед этим сражался. Равеннцы похоронили его в одном из своих храмов, а в эпитафии на могильной плите запечатлели свою благодарность (*contempsit caros, dum nos amat ille, parentes**) и своеобразное противоречие между зверским обликом этого варвара и его простодушием и добротой:

* Нас возлюбив, презрел родных по крови (*лат.*).

Terribilis visu facies mente benignus,
 Longaque robusto pectores barba fuit!*

Такова история жизни Дроктулфта-варвара, который умер, защищая Рим, — или, вернее, та часть истории, которую сумел извлечь из забвения Петр Диакон. Я даже не знаю точно, когда это произошло: то ли в середине шестого века, когда лангобарды разорили равнины Италии; то ли в восьмом веке, незадолго до падения Равенны. Представим себе (поскольку это не исторический трактат) первое.

Представим себе, *sub specie aeternitatis*** , Дроктулфта, но не Дроктулфта-личность, который, без сомнения, был единственным в своем роде и непостижимым (ибо всякая личность в своем роде единственная и непостижимая), но Дроктулфта как типического представителя его племени, такого, каким он, как и многие другие, стал благодаря традиции, которая творится забвением и памятью. От берегов Дуная и Эльбы через мрачные леса и болота война привела его в Италию, и, может быть, он

* Ужасен видом, но душою благоденствен,
 Густою бородой вся грудь покрыта! (*лат.*)

** С точки зрения вечности (*лат.*).

даже не знал, что идет на Юг, и, может быть, даже не ведал, что воюет против римской славы. Возможно, он исповедовал арианство, которое зиждется на том, что слава Сына есть отражение славы Отца, но вернее вообразить его поклонником Земли, Геи, изображение которой, заботливо укутанный идол, блуждало вместе с ним по дорогам на повозке, запряженной быками; или, может быть, почитателем богов войны, богов-громовержцев, грубо вытесанных деревянных богов, облаченных в тканые одежды и увешанных монетками и браслетами. Он пришел из непроходимых лесов, царства кабана и зубра; он был белокож, отважен, простодушен, жесток и безраздельно предан своему вожаку и своему племени, а не Вселенной. Война приводит его к Равенне, и там он видит такое, чего никогда не видел — во всяком случае, не видел в такой полноте. Он видит светлый день и кипарисы, он видит мрамор. Он видит множество различных вещей, но вещи эти он видит в сочетании, а не в беспорядке; он видит город, единый организм из статуй, храмов, садов, жилищ, амфитеатров, вазонов, капителей, из просторных, правильной формы площадей. Ни одно из этих творе-

ний человеческих рук, я знаю, не поразило его своей красотой — они подействовали на него так, как подействовал бы на нас с вами сложный механизм, назначения которого мы не знаем, но в чьем сотворении угадывается участие бессмертного разума. Возможно, ему достаточно было увидеть одну только арку с непонятной надписью на вечной латыни. Его вдруг ослепляет и словно делает другим это откровение — Город. Он понимает, что готов быть в нем последним псом или несмышленным ребенком, он знает, что никогда даже не подступится к его постижению, но понимает, что город этот стоит больше, чем все его боги и вера, которой он присягал, и все до единого болота его Германии. Дроктулфт бросает своих и идет сражаться за Равенну. Он умирает, и на его могильной плите выбивают слова, которых он бы, наверное, и не понял:

Contempsit caros, dum nos amat ille, parentes
Hanc patriam reputans esse, Ravenna suam*.

Он не был предателем, предатели не вдохновляют на проникновенные эпитафии; он

* Нас возлюбив, презрел родных по крови,
Отчизною своей назвал Равенну (лат.).

пережил озарение, он обратился в иную веру. Через несколько поколений те самые лангобарды, что винули перебежчика, поступили, как он: стали итальянцами, ломбардцами, и, может быть, даже один из его родичей по крови — Альдигер — положил начало роду, который позднее дал жизнь Алигьери... Множество догадок можно строить, основываясь на поступке Дроктулфта; моя — самая скромная, и даже если она не столь достоверна как факт, то вполне достоверна как символ.

История война, прочитанная у Кроче, подействовала на меня необычайно, было такое ощущение, словно я странным образом почерпнул из нее что-то касавшееся меня лично. Мелькнула мысль о монгольских всадниках, собиравшихся превратить Китай в бескрайние пастбища и состарившихся в городах, которые некогда они намеревались разрушить; однако не это искал я в памяти. И нашел в конце концов: то был рассказ, слышанный от моей бабушки-англичанки, ныне покойной.

В 1872 году дед мой Борхес был начальником на Северных и Западных границах провинций Буэнос-Айрес и Сур-де-Санта-Фе. Комендатура размещалась в Хунине; за Хуни-

ном на расстоянии четырех или пяти лиг друг от друга шла цепь укреплений; а за ними лежало то, что тогда называлось Пампой и Внутренней Землей. Однажды в шутку бабка подивилась своей участи: как ее, англичанку, занесло сюда, на край света; но в ответ услышала, что она тут не единственная, и несколько месяцев спустя ей показали девушку-индианку, которая медленно шла через площадь. На индианке были две яркие шали; ноги ее были босы, а волосы висели светлыми прядями. Солдат позвал девушку, сказав, что с ней хочет поговорить другая англичанка. Та согласилась и вошла в комендатуру без страха, но не без опаски. На ее медно-красном, грубо размалеванном лице блекло голубели глаза того самого цвета, который англичане называют серым. Тело женщины было легким, как у оленя, а руки крепкими и костистыми. Она пришла из пустыни, из Внутренней Земли, и все ей тут было мало: и двери, и стены, и мебель.

Быть может, обе женщины на мгновение почувствовали себя сестрами здесь, в этой немислимой стране, так далеко от их любимого острова. Начала разговор моя бабка, задав какой-то вопрос; женщина отвечала с трудом,

подыскивая слова и повторяя их, будто удивляясь давно забытому, старинному вкусу. Лет пятнадцать, наверное, не говорила она на родном языке, и вернуться к нему оказалось не просто. Она сказала, что родом из Йоркшира, что ее родители эмигрировали в Буэнос-Айрес и она потеряла их во время набега, что ее индейцы увели с собой и теперь она жена вожака, очень отважного, и что она родила ему двоих детей. Она говорила на примитивном английском языке, пересыпая свой рассказ арауканскими или местными, из пампы, словами, и в них проглядывала суровая и дикая жизнь: хижина из лошадиных шкур, очаг, топившийся конским навозом, пиры, на которых поедалось обугленное мясо и сырые потроха, тайные вылазки в предраcсветной мгле, набеги на чужие стада, крики и вопли, разбой, несметные стада, угоняемые из поместий голыми всадниками, полигамия, грязь, колдовство. И среди этого варварства живет англичанка! Шокированная и движимая жалостью, бабка стала уговаривать ее не возвращаться больше туда. Поклялась, что даст ей приют, что вызовет ее детей. А та ответила, что счастлива там, и, не дожидаясь утра, вернулась к себе, в пустыню. Франсиско

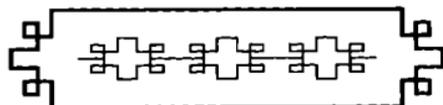
Борхес умрет немного спустя, во время революции 1874 года; и, быть может, только тогда моей бабушке удастся уловить — как в зеркале — в судьбе той женщины, полоненной и перерожденной жестоким континентом, чудовищное отражение собственной участи...

Светловолосая индианка, приходившая все прежние годы в лавки Хунина или Форт-Лавалье за всякой всячиной и предметами «порока», после разговора с моей бабушкой больше не появлялась. И все-таки они увиделись еще раз. Как-то бабушка выехала на охоту; на одном ранчо, на заднем дворе, мужчина резал овцу. Словно во сне, вдруг показалась верхом на коне та индианка. Соскочила на землю и припала к струящейся из шеи горячей овечьей крови. Не знаю, как это объяснить — то ли она уже не могла иначе, то ли это был вызов, знак.

Тысяча триста лет и целое море пролегли между участью той пленницы и судьбою Дроктулфта. Но та и другая судьбы одинаково непоправимы. Варвар, который сумел постичь Равенну, и женщина-европейка, отдавшая предпочтение пустыне, могут показаться антагонистами. Однако же оба они оказались пленниками тайного порыва, порыва куда бо-

История война и пленницы

лее глубокого, нежели доводы разума, и оба повиновались этому порыву, которого не сумели бы даже объяснить. Возможно, обе рассказанные мною истории, по сути, одна история. Обе стороны этой медали пред лицом Бога одинаковы.



Биография Тадео Исидоро Круса (1829—1874)

Посвящается Ульрике фон Кюльманн

I'm looking for the face I had
Before the world was made.

*Yeats: The Winding star**

Шестого февраля 1829 года повстанцы, преследуемые на этот раз Лавалье, шли с Юга на соединение с войсками Лопеса и сделали привал в поместье, названия которого не знали, в трех или четырех лигах от Пергамино; перед рассветом одному из них приснился страшный сон; в полутемном бараке он закричал и разбудил спавшую с ним женщину. Никто не знает, что ему приснилось, потому что на

* Искал я, истошая зренья,
Свой лик до миротворенья.

Йитс «Блуждающая звезда»

следующий день в четыре часа повстанцы были обращены в бегство конницей Суареса, которая гналась за ними девять лиг, пока в поле не стемнело, и человек тот умер во рву — череп ему раскроила сабля, воевавшая в Перу и в Бразилии. Женщину звали Исидора Крус; и сын, который у нее родился, был наречен Тадео Исидоро.

Я не собираюсь пересказывать его жизнь. Из всех дней и ночей, которые ее составляли, меня интересуется только одна ночь; об остальных я и говорить не буду, разве только затем, чтобы та ночь стала понятной. Приключившиеся события содержатся в знаменитой книге; другими словами, в книге, которая может для всех сделаться всем (I послание к Коринфянам, 9,22)*, ибо способна выдержать почти неисчерпаемое количество повторений, переложений и перелицовок. Те, кто комментировал — а таких было много — жизнь Тадео Исидоро, отмечают, что на его формирование повлияла равнина, однако гаучо, подобно ему, рождались и умирали и на заросших тропическими лесами берегах Параны, и в высившихся

* Имеются в виду слова: «Для всех я сделался всем».

на востоке горах. Но Крус действительно жил в мире однообразном и диком. Он умер в 1874 году от черной оспы и ни разу так и не увидел ни гор, ни фабричной трубы, ни мельницы. И города не видел. В 1849 году вместе с войском установления порядка Франсиско Хавьера Асеведо он отправился в Буэнос-Айрес; пастухи вошли в город, чтобы разграбить его; Крус из опаски не решился выйти с постоянного двора, находившегося неподалеку от загонов. Там он провел много дней, молчаливый и замкнутый, спал на земле, пил мате, вставал с рассветом, сосредоточенно молился. Особым чутьем (что сильнее всяких слов и доводов рассудка) он понял: у него с городом нет ничего общего. Как-то пьяный пеон посмеялся над ним. Крус ему ничего не сказал, но тот, возвращаясь к ночи, присаживался у очага и продолжал насмехаться; и однажды Крус (никогда ранее не высказывавший злобы или неудовольствия) ударом кулака свалил его. А сам бежал и несколько дней прятался в высоком жнивье; но вот как-то ночью по крику испуганной птицы чаха он понял, что окружен полицией. Он попробовал свой нож, срубив стебель; чтобы шпоры не помешали ему на земле, он снял шпоры.

Он решил не сдаваться и биться до последнего. Его ранили в руку, в плечо, в левую ладонь; и он тяжело ранил самых смелых своих противников; когда кровь заструилась у него меж пальцев, он стал еще отважней, чем раньше; перед рассветом его, истекавшего кровью и почти терявшего сознание, разоружили. Армия в те времена зачастую играла роль карателя: Круса отправили в крепость на Северной границе. Рядовым солдатом он участвовал в гражданских войнах; случалось, сражался за провинцию, откуда был родом, а случалось, что и против нее. Двадцать третьего января 1856 года в Лагуна-Кардосо он был в числе тридцати христиан, которые под командой старшего сержанта Эусебио Лаприды бились с двумя сотнями индейцев. В этом сражении он был ранен копьем.

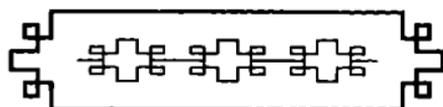
В истории его мрачной и бесстрашной жизни много пробелов. В 1868 году, мы знаем, он снова оказывается в Пергамино; жена или наложница родила ему сына, а сам он теперь хозяин небольшого земельного надела. В 1869 году он получает звание сержанта сельской полиции. Он искупил свое прошлое и теперь, должно быть, считает себя счастливым, хотя,

по сути дела, счастлив не был. (Его поджидала, затаившись в будущем, все озаряющая, главная в его жизни ночь: ночь, когда он наконец увидит свое собственное лицо, ночь, когда он наконец услышит свое имя. Если понять ее как следует, то эта ночь исчерпывает всю его жизнь; вернее сказать, один миг этой ночи, один поступок этой ночи, ибо поступки наши — символы нас самих.) Судьба любого человека, как бы сложна и длинна она ни была, на деле заключается *в одном-единственном мгновении* — в том мгновении, когда человек раз и навсегда узнает, кто он. Рассказывают, что Александр Македонский увидел отражение своего ратного будущего в сказочной истории Ахилла; Карл XII Шведский — в истории Александра Македонского. К Тадео Исидоро Крузу, не умевшему читать, откровение явилось не из книги — он увидел себя в другом человеке, попавшем в суровую переделку. А было так.

В последние дни июня месяца 1870 года он получил приказ поймать злоумышленника, виновного перед правосудием в двух смертях. Человек этот бежал из войск, которыми командовал на Южной границе полковник Бенито Мачадо; однажды по пьянке в публичном

доме он убил негра, а в другой раз, тоже во время попойки, — подвернувшегося под руку сторонника Росаса; в сообщении указывалось, что родом он из Лагуна-Колорады. Именно в этом месте сорок лет назад настигла беда повстанцев, и тела их остались там на радость воронью и бродячим псам; оттуда вышел Мануэль Меса, которого казнили на площади Победы под грохот барабанов, старавшихся заглушить его гнев; отсюда же был и неизвестный, что зачал Круса, а сам погиб во рву от смертельного удара саблей, воевавшей в Перу и в Бразилии. Крус позабыл название места, но теперь с легким и необъяснимым беспокойством узнал его. Преступник, уходя верхом на лошади, петлял по зарослям; и все-таки солдаты окружили его ночью двенадцатого июля. Он схоронился в высоком жнивье. Тьма была почти непроглядная; Крус со своими людьми, спешившись, осторожно подступал к зарослям, в колеблющейся глубине которых спал или подстерегал их неведомый человек. Закричала птица чаха; Тадео Исидоро Крису показалось, будто однажды он уже пережил этот миг. Преступник вышел из укрытия, чтобы сойтись с ними в открытом бою. Он показался Крису ужасным;

отросшие волосы и пегая борода будто съели его лицо. По причине совершенно очевидной я не стану описывать их схватку. Достаточно сказать, что преступник тяжело ранил или убил нескольких людей Круса. А Крус, сражаясь в потемках (это его тело сражалось в потемках), начал прозревать. И понял, что одна судьба ничем не лучше другой, но каждый человек должен почитать то, что несет в себе. И что нашивки и форма только мешают и путают. Он понял, что его исконная участь — участь волка, а не собаки из своры; и еще понял, что тот, другой, — это он сам. Над необъятной равниной светало; Крус бросил оземь форменную фуражку и, закричав, что он не пойдет на злодеяние и не станет убивать храброго человека, стал биться против своих солдат вместе с беглым Мартином Фьерро.



Эмма Цунц

Четырнадцатого января 1922 года Эмма Цунц, вернувшись с ткацкой фабрики «Тарбух и Ловенталь», нашла у себя в подъезде письмо с бразильским штемпелем, сообщавшее о кончине отца. На первых порах она обрадовалась конверту с этим штемпелем, но затем встревожилась при виде незнакомого почерка. Эмма прочитала, что сеньор Майер случайно принял чрезмерную дозу веронала и скончался третьего числа сего месяца в больнице Баже. Об этом сообщал товарищ ее отца по пансиону, некто Файн или Фейн из Рио-Гранде, наверное, не знавший, что пишет дочери умершего.

Эмма уронила листок. Сначала почувствовала тошноту и слабость в ногах, потом — словно свою вину, нереальность мира, холод и страх; потом захотела, чтобы уже наступило завтра.

Но тут же уверилась, что это напрасное желание, ибо смерть отца была тем единственным, что случилось на свете и что никогда не пройдет. Она подняла письмо и пошла в свою комнату. Положила конверт на самое дно шкафа, будто бы знала, какие события последуют дальше. Может быть, ей они уже смутно виделись или она уже стала той, которой будет потом.

В сгущающейся тьме Эмма оплакивала до позднего вечера самоубийство Мануэля Майера, который в счастливую давнюю пору звался Эммануилом Цунцем. Вспоминала летние дни на ферме рядом с Гуалегуаем; вспоминала (старалась вспомнить) лицо матери, домик в Ланусе, отнятый у них и пошедший с торгов; вспоминала желтые занавески на окнах; вспоминала тюремную машину, позор; вспоминала анонимные пасквили на «ворюгу кассира», вспоминала (это, впрочем, она и не забывала), как отец в ту последнюю ночь ей поклялся, что деньги забрал Ловенталь. Ловенталь, Аарон Ловенталь, тогда управляющий, ныне один из хозяев фабрики. С 1916-го Эмма хранила тайну. Она никому ее не открыла, даже своей лучшей подруге, Эльзе Урштейн. Возможно, избегала обидного недоверия, а может быть, вери-

ла в то, что тайна служит связующей нитью между ней и отцом. Ловенталь не знал, что она знает. И это ничтожное обстоятельство вселяло в Эмму Цунц ощущение власти.

Она не спала всю ночь, и, когда раннее утро осветило прямоугольник окна, план был готов. Она постаралась, чтобы этот день, казавшийся ей бесконечным, был похож на все остальные. На фабрике поговаривали о забастовке. Эмма высказалась, как всегда, против всяческого насилия. В шесть, после работы, пошла с Эльзой записываться в женский клуб, где были бассейн и гимнастический зал. При оформлении она должна была по буквам повторять свое имя и фамилию, должна была улыбаться пошлым шуткам, сопровождавшим уточнение фамилии. Вместе с Эльзой и младшей из сестер Кронфус обсуждала, в какой кинотеатр они пойдут в воскресенье вечером. Потом зашел разговор о поклонниках, и молчание Эльзы никому не казалось странным. В апреле ей исполнялось уже девятнадцать лет, но мужчины вселяли в нее почти патологический страх... По возвращении Эмма сварила суп из тапиоки и овощей, рано поужинала, легла и заставила себя спать. Так в обычных трудах и

заботах прошла пятница четырнадцатого — день накануне.

В субботу нетерпение прогнало сон. Не беспокойство, а нетерпение и странное чувство облегчения, что наконец пришел этот день. Не надо больше мудрствовать и представлять себе будущее: через считанные часы она столкнется с безыскусностью фактов. Прочитав в газете «Ла Пренса», что «Нордстьернан» из Мальмё вечером бросит якорь у третьего мола, Эмма позвонила по телефону Ловенталю и намекнула, что хочет ему что-то сообщить по секрету о забастовке, и обещала с наступлением тьмы прийти к нему в кабинет. Говорила она с дрожью в голосе, как и надлежит говорить доносчице. Тем утром более ничего достопамятного не случилось. Эмма работала до двенадцати и во всех подробностях обсудила с Эльзой и Перлой Кронфус программу воскресных увеселений. После обеда прилегла отдохнуть и, закрыв глаза, повторила в уме план намеченных действий. Подумалось, что финальный этап будет менее ужасным, чем первый, и, без сомнения, позволит вкусить и радость победы и правого суда. Вдруг она в тревоге вскочила и бросилась к шкафу.

Открыла. В углу под фото Милтона Силса, там, куда она его положила позавчера, лежал конверт Файна. Никто не мог видеть письма, она стала читать и порвала листок.

Передать мало-мальски реально все происшествия того вечера — дело трудное, даже, может быть, и немислимое. Атрибутом тяжких переживаний является ирреальность, которая, возможно, смягчает трагизм, но, с другой стороны, и усугубляет его. Легко ли с достоверностью воспроизвести событие, в которое почти отказывается верить его участник, и как изобразить сумбурные минуты, которые сегодня память Эммы смешивает и отвергает? Эмма жила в районе Альмагро на улице Линье. Известно, что к вечеру она направилась в порт. На этом гнусном проспекте Июля она, вероятно, видела себя стократно умноженной в зеркальных витринах, преданной для всеобщего обозрения ярким светом и раздетой голодными взглядами, но более разумно предположить, что сначала она бродила одна, никем не замеченная, в равнодушной толпе... Зашла в два или три бара, увидела обычные или не совсем обычные ухищрения женщин. И наконец явилась к мужчинам с «Нордстьернана». Отверну-

лась от одного, совсем юного, боясь, что он внушит ей нежность, и предпочла другого, ниже себя ростом и более грубого, чтобы не притупилось изначальное омерзение. Мужчина привел ее к какой-то двери, потом вел через темный подъезд, потом — вверх по скрипучей лестнице, потом — маленький зал (где был витраж с занавесками, как в их доме в Ланусе), коридорчик, потом дверь, которая заперлась. Ужасающие события не подчиняются времени, ибо их мгновенное прошлое как бы раздроблено будущим и моменты, их составляющие, словно утрачивают последовательность.

В таком времени вне времени, в оглушающем хаосе жутких и несвязанных ощущений подумала ли Эмма Цунц хотя бы один-единственный раз о покойном, которому приносилась жертва? Могу представить, что один раз она все же подумала и что в эту минуту едва не сорвался ее отчаянный план. Она подумала (не могла не подумать), что ее отец проделывал с матерью то же самое, страшное, что делают с ней. Подумала со слабым удивлением и тотчас впала в спасительный транс. Мужчина, швед или финн, не говорил по-испански; он был для Эммы таким же орудием, каким была для него

она, но она служила для наслаждения, а он — для возмездия.

Оставшись одна в комнатухе, Эмма не сразу открыла глаза. На столике были деньги, положенные мужчиной. Эмма встала и порвала их, как недавно порвала письмо. Рвать деньги — кощунство не меньшее, чем выбрасывать хлеб; Эмма тут же раскаялась. Гордыня в такой-то день... Страх заглушался мучениями тела и чувством гадливости. Мучение и гадливость лишали сил, но Эмма медленно встала и принялась одеваться. В комнате угасли живые краски вечера, надвигалась полная тьма. Эмме удалось выскользнуть никем не замеченной, на углу она вскочила в автобус, шедший в восточный район. Села, как заранее задумала, на самое переднее место, чтобы никто не увидел лица. Может быть, глядя на пошлую уличную суету, она утешалась мыслью, что от происшедшего с нею мир хуже не стал. Она ехала по тусклым и унылым кварталам, смотрела на них, мгновенно забывая виденное, и вышла в одном из переулков Варнеса. Ее усталость парадоксальным образом была ей на руку, ибо хватало сил думать лишь о деталях рискованной авантюры, а суть и последствия не беспокоили.

Аарона Ловенталя окружающие считали порядочным человеком, а его немногие близкие — скрягой. Жил он в помещении над фабрикой, один-одинешенек. Поселившись в пригородном захолустье, боялся воров, на фабричном дворе у него был огромный пес, а в ящике письменного стола — и об этом все знали — большой револьвер. Он достойно оплакал внезапно умершую в прошлом году супругу — урожденную Гаусс, принесшую ему немалое приданое! — но деньги как были, так и остались его истинной страстью. Он с сожалением себе признавался, что ему их легче копить, нежели зарабатывать. Он был очень религиозен и верил в свой тайный стовор с Богом, который освобождал его от добрых дел в обмен на молитвы и обеты. Лысый дородный рыжебородый мужчина в трауре и темном пенсне ждал у окна конфиденциального сообщения работницы Цунц.

Он видел, как она толкнула решетчатую дверь (которая нарочно оставалась незапертой) и вошла в темный двор. Видел, как она отшатнулась от цепной собаки, залаявшей на нее. Губы Эммы подрагивали, будто шептали молитву, в сотый раз, уже с трудом, произно-

сили приговор, который услышит сеньор Ловенталь перед смертью.

Все случилось не так, как замыслила Эмма Цунц. Со вчерашнего утра ей много раз представлялось, что она, целясь твердой рукой, принудит подлеца под дулом револьвера признаться в подлой вине и совершит героический акт, который позволит суду Божьему восторжествовать над судом человеческим. (Не из боязни, а из-за того, что она служит лишь орудием возмездия, ей не хотелось бы нести наказание.) И наконец выстрелом прямо в грудь поставит точку на судьбе Ловенталья. Но все случилось не так.

Увидев Ловенталья, Эмма ощутила желание прежде всего отомстить за позор, пережитый во имя отца, а уж потом расплатиться за него самого. Она не могла не убить его после своего тщательно подготовленного бесчестья. Нельзя было тратить время и на театральные фокусы. Робко присев на стул, она извинилась перед хозяином, сослалась (как и подобает доносчице) на свой долг и лояльность, назвала имена одних, упомянула других — тут голос ее прервался, будто от страха. И Ловенталю пришлось удалиться за стака-

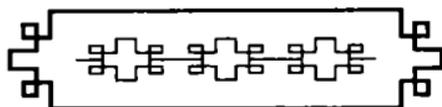
ном воды. Когда же он, не слишком веря в эти истерические штучки, но полный снисхождения, вернулся из столовой, Эмма успела вытащить из ящика тяжелый револьвер. И спустила курок два раза.

Грузное тело рухнуло, будто дым и грохот выстрелов его подрубили, стакан с водой разбился, лицо глядело на нее с удивлением и ужасом, рот поносил ее и на идише, и по-испански. Гнусная ругань не иссякала. Эмма выстрелила в третий раз. Во дворе надрывался от лая прикованный пес, кровь хлынула из сквернословящих губ и запачкала бороду и костюм. Эмма начала свою обвинительную речь («Я отомстила за отца, и меня не смогут судить...»), но умолкла, ибо сеньор Ловенталь был уже мертв. Она так никогда и не узнала, понял ли он что-нибудь.

Надсадный лай напомнил ей, что успокаиваться рано. Она разбросала подушки на диване, расстегнула рубашку на трупе, схватила забрызганное кровью пенсне и положила на картотечный ящик. Потом бросилась к телефону и стала повторять то, что столько раз повторяла — и этими, и другими словами: «Произошел невероятный случай... Сеньор Ловенталь велел

мне прийти и рассказать о забастовке... А сам меня изнасиловал, и я его застрелила...»

Случай и в самом деле был невероятным, но ни у кого не вызвал и тени сомнения, ибо по существу соответствовал истине. Настоящей была дрожь в голосе Эммы Цунц, настоящей — ее непорочность, настоящей — ненависть. Настоящим было и насилие, которому она подверглась. Не отвечали действительности лишь обстоятельства, время и одно или два имени собственных.



Дом Астерия

Марии Москера Истмен

И царица произвела на свет сына, которого назвали Астерием.

Аполлodor, «Библиотека», III, I

Знаю, меня обвиняют в высокомерии, и, возможно, в ненависти к людям, и, возможно, в безумии. Эти обвинения (за которые я в свое время рассчитаюсь) смехотворны. Правда, что я не выхожу из дома, но правда и то, что его двери (число которых бесконечно*) открыты днем и ночью для людей и для зверей. Пусть входит кто хочет. Здесь не найти ни изнежива-

* В оригинале — «четырнадцать», но более чем достаточно оснований считать, что в устах Астерия это числительное означает «бесконечность».

ющей роскоши, ни пышного великолепия дворцов, но лишь покой и одиночество. И дом, равного которому нет на всей земле. (Лгут те, кто утверждает, что похожий дом есть в Египте.) Даже мои хулители должны признать, что в доме нет никакой мебели. Другая нелепость — будто я, Астерий, узник. Повторить, что здесь нет ни одной закрытой двери, ни одного запора? Кроме того, однажды, когда смеркалось, я вышел на улицу; и если вернулся еще до наступления ночи, то потому, что меня испугали лица простонародья — бесцветные и плоские, как ладонь. Солнце уже зашло, но безутешный плач ребенка и молящие вопли толпы означали, что я был узнан. Люди молились, убегали, падали на колени, некоторые карабкались к подножию храма Двойной секиры, другие хватали камни. Кто-то, кажется, кинулся в море. Недаром моя мать была царицей, я не могу смешаться с чернью, даже если бы по скромности хотел этого.

Дело в том, что я неповторим. Мне неинтересно, что один человек может сообщить другим; как философ, я полагаю, что с помощью письма ничто не может быть передано. Эти раздражающие и пошлые мелочи претят

моему духу, который предназначен для великого; я никогда не мог удержать в памяти отличий одной буквы от другой. Некое благородное нетерпение мешает мне выучиться читать. Иногда я жалею об этом — дни и ночи такие длинные.

Разумеется, развлечений у меня достаточно. Как баран, готовый биться, я ношусь по каменным галереям, пока не упаду без сил на землю. Я прячусь в тени у водоема или за поворотом коридора и делаю вид, что меня ищут. С некоторых крыш я прыгал и разбивался в кровь. Иногда я прикидываюсь спящим, лежа с закрытыми глазами и глубоко дыша (порой я и в самом деле засыпаю, а когда открою глаза, то вижу, как изменился цвет дня). Но больше всех игр мне нравится игра в другого Астерия. Я делаю вид, что он пришел ко мне в гости, а я показываю ему дом. Чрезвычайно почтительно я говорю ему: «Давай вернемся к тому углу», или: «Теперь пойдем в другой двор», или: «Я так и думал, что тебе понравится этот карниз», или: «Вот это чан, наполненный песком», или: «Сейчас увидишь, как подземный ход раздвигается». Временами я ошибаюсь, и тогда мы оба с радостью смеемся.

Я не только придумываю эти игры, я еще размышляю о доме. Все части дома повторяются много раз, одна часть совсем как другая. Нет одного водоема, двора, водопоя, кормушки, а есть четырнадцать (бесконечное число) кормушек, водопоев, дворов, водоемов. Дом подобен миру, вернее сказать, он и есть мир. Однако, когда надоедают дворы с водоемом и пыльные галереи из серого камня, я выхожу на улицу и смотрю на храм Двойной секиры и на море. Я не мог этого понять, пока однажды ночью мне не привиделось, что существует четырнадцать (бесконечное число) морей и храмов. Все повторяется много раз, четырнадцать раз, но две вещи в мире неповторимы: наверху — непонятное солнце; внизу — я, Астерий. Возможно, звезды, и солнце, и этот огромный дом созданы мной, но я не уверен в этом.

Каждые девять лет в доме появляются девять человек, чтобы я избавил их от зла. Я слышу их шаги или голоса в глубине каменных галерей и с радостью бегу навстречу. Вся процедура занимает лишь несколько минут. Они падают один за другим, и я даже не успеваю запачкаться кровью. Где они падают, там и остаются, и их тела помогают мне отличать эту

галерею от других. Мне неизвестно, кто они, но один из них в свой смертный час предсказал мне, что когда-нибудь придет и мой освободитель. С тех пор меня не тяготит одиночество, я знаю, что мой избавитель существует и в конце концов он ступит на пыльный пол. Если бы моего слуха достигали все звуки на свете, я различил бы его шаги. Хорошо бы он отвел меня куда-нибудь, где меньше галерей и меньше дверей. Каков будет мой избавитель? — спрашиваю я себя. Будет ли он быком или человеком? А может, быком с головой человека? Или таким, как я?

Утреннее солнце играло на бронзовом мече.
На нем уже не осталось крови.

— Поверишь ли, Ариадна? — сказал Тесей. — Минотавр почти не сопротивлялся.

где он батрачил. Педро Дамьян был родом из провинции Энтре-Риос, из Гуалегуая, но отправился туда, куда отправились его товарищи, такой же окрыленный и такой же несведущий, как они. Он принимал участие в ряде стычек и в самой последней битве. Вернувшись в 1905-м в родные края, снова стал упорно и безропотно трудиться в поле. Насколько я знаю, он больше никогда не уходил из дому. Последние тридцать лет жил на хуторе в полном одиночестве неподалеку — в двух лигах — от Ньянкая. В этом убогом обиталище я и беседовал (пытался беседовать) с ним как-то вечером в 1942-м. Человек он был мрачный, не очень начитанный. Грохот и неистовство битвы под Масольером исчерпывали всю его жизнь. И меня вовсе не удивило, что он вновь пережил это сражение в час своей смерти... Когда я узнал, что больше его не увижу, мне захотелось представить себе Дамьяна. Но моя зрительная память очень слаба, и я смог вспомнить лишь его фотографию, сделанную Ганноном. В этом нет ничего необычного, если учесть, что Дамьяна я видел в начале 1942-го и всего один раз, а его изображение — неоднократно. Ганнон прислал мне фото — я его

потом потерял, а теперь не ищу. Даже боюсь найти.

Второй эпизод относится к Монтевидео и произошел месяц-другой спустя. Бред и кончина энтрерианца навели меня на мысль написать фантастический рассказ, связанный с поражением под Масольером. Эмир Родригес Монегаль, с которым я поделился замыслом, дал мне записку к полковнику Дионисио Табаресу, участвовавшему в этой военной кампании. Полковник принял меня после ужина. Сидя в кресле-качалке в патио, он предался сумбурным и нежным воспоминаниям о прошлом. Говорил о не подходивших вовремя обозах с припасами и о загнанных лошадях; о беспечных доморощенных воинах, выведивших узоры бесконечных походов; о Саравии, который мог ворваться в Монтевидео, но обошел его стороной, «ибо гаучо боится города»; о людях, обезглавленных по самые плечи; о Гражданской войне, которая мне представилась не столько конфликтом двух войск, сколько мечтой одного душегуба. Он говорил об Ильескасе, о Тупамбае, о Масольере. Фразы его были так округлены, а образы так живописны, что, подумалось мне, он не раз повторял то же са-

мое, и я стал бояться, как бы слова не вытеснили воспоминания. Когда он наконец перевел дух, я поспешил вставить имя Дамьяна.

— Дамьян? Педро Дамьян? — повторил полковник. — Был такой у меня. Индейчик, которого парни звали Дайман. — Он было разразился хохотом, но тут же оборвал себя с наигранным или искренним смущением.

Изменив тон, сказал, что война, как женщина, служит для того, чтобы мужчина мог себя проверить, и что до сражения никто не знает, кем он окажется. Кого-то считают трусливым, а он настоящий храбрец, или наоборот, как это случилось с беднягой Дамьяном, который куражился в сельских тавернах — пульпериях, швырял направо и налево свои «белые» деньги, а потом сдрейфил под Масольером. В перестрелках с врагами он, бывало, вел себя по-мужски, но ведь иное дело, когда две армии стоят друг перед другом, и начинается артиллерийская пальба, и каждый вдруг чувствует, что пять тысяч недругов здесь затем и собрались, чтобы его прикончить. Бедный мальчишка — мыл и стриг овец и вдруг попал в эту бойню...

Глупо, но рассказ Табареса привел меня в замешательство. Я предпочел бы, чтобы собы-

тия развивались не так. Повстречавшись со стариком Дамьяном тем вечером, несколько лет назад, я невольно вылепил своего рода идола; Табарес разбил его вдребезги. Внезапно мне открылась причина сдержанности и стойкого одиночества Дамьяна: это была не стеснительность, это был стыд. Напрасно я убеждал себя, что человек, проявивший однажды слабость, более сложен и интересен, чем человек исключительно храбрый. Гаучо Мартин Фьерро, думалось мне, заслуживает меньше внимания, чем Лорд Джим или Разумов. И все же Дамьян, аргентинский гаучо, обязан был стать Мартином Фьерро — тем более в глазах уругвайских гаучо. Во всем, о чем бы Табарес ни говорил или ни умалчивал, чувствовалась его явная склонность к тому, что называется артигизмом, то есть к уверенности (возможно, и правильной), что Уругвай более прост, чем наша страна, а потому и более храбр... Помнится, в тот вечер мы распрощались, обменявшись сверх меры крепкими рукопожатиями.

Поиски еще двух или трех фактов для моего фантастического рассказа (который, как назло, не складывался) вновь привели меня зимой в дом полковника Табареса. У него в гостях

был один пожилой сеньор, доктор Хуан Франсиско Амаро из Пайсанду, который тоже участвовал в восстании Саравии. Как и следовало ожидать, заговорили о Масольере. Амаро сначала рассказывал забавные случаи, а потом не спеша добавил, словно раздумывая вслух:

— Помню, заночевали мы в Санта-Ирене, и к нам примкнули несколько человек. Были среди них ветеринар-француз и парень, стригальщик овец из Энтре-Риоса, некий Педро Дамьян.

Я, саркастически усмехнувшись, его перебил:

— Слышали, слышали. Тот аргентинец, который сдрейфил под пулями.

И замолчал; оба озадаченно глядели на меня.

— Вы ошибаетесь, сеньор, — вымолвил наконец Амаро. — Педро Дамьян умер так, как желал бы умереть всякий. Было это в четыре часа пополудни. С вершины холма лавиной двинулась на нас пехота «Колорадо». Наши воины ринулись им навстречу. Дамьян мчался в первых рядах и кричал. Пуля попала ему прямо в сердце. Он приподнялся на стременах, смолк и рухнул на землю, под копыта коней. Он умер сразу, и наша последняя атака под

Масольером прошумела над ним. Какой молодец, а ему не было и двадцати.

Он говорил, без сомнения, о другом Дамьяне, но я почему-то спросил, что выкрикивал этот парень.

— Ругательства, — сказал полковник, — то, что обычно кричат в атаках.

— Возможно, — сказал Амаро, — но он также кричал «Вива Уркиса!».

Мы долго сидели молча. Наконец полковник пробормотал:

— Словно бы дрался не под Масольером, а в Каганче или в Индиа-Муэрте столетие назад.

И добавил, наивно и удивленно:

— Я командовал этим войском, но могу поклясться, что слышу впервые про этого Дамьяна.

Нам так и не удалось заставить полковника вспомнить о Дамьяне.

В Буэнос-Айресе меня ждал не менее поразительный сюрприз, чем его забывчивость. В хранилище английской библиотеки Митчела возле двенадцати дивных томов Эмерсона я как-то вечером встретил Патрисио Ганнона. И спросил о его переводе «The Past». Он сказал, что даже не помышляет переводить эту вещь и

что испанская литература и без Эмерсона достаточно неинтересна. Я напомнил ему о его обещании выслать мне вариант перевода поэмы в том же самом письме, где он извещал меня о смерти Дамьяна. Ганнон спросил, кто такой Дамьян. Я вновь и вновь объяснял, но безуспешно и с возрастающим ужасом стал замечать, что он меня слушает с изумлением. Пришлось искать спасение в литературном диспуте о пасквилянтах Эмерсона, поэта более сложного, более талантливого и, разумеется, более оригинального, чем этот несчастный По.

Хочу сообщить еще о некоторых фактах. В апреле я получил письмо от полковника Дионисио Табареса: память его прояснилась, и теперь он прекрасно помнил юного энтрерианца, который возглавил атаку под Масольером и которого в ту же ночь у подножия холма похоронили его товарищи. В июле я побывал в Гуале-Гуайчу, но не наведаясь на ранчо Дамьяна, ибо о хозяине все уже позабыли. Мне лишь хотелось кое о чем расспросить хуторянина Диего Абарко, присутствовавшего при его смерти, однако тот сам скончался, еще до зимы. Мне хотелось представить себе и лицо Дамьяна, ибо несколько месяцев назад, листая

альбомы, я обнаружил, что суровый лик, всплывавший в моей памяти, принадлежит известному тенору Тамберлинку в роли Отелло.

Теперь перейду к гипотезам. Согласно наиболее простой, но наименее убедительной, было два Дамьяна: трус, умерший в Энтре-Риосе в канун 1946 года, и герой, умерший под Масольером в 1904-м. Дефект этой версии в том, что она не дает ответа на первую, абсолютно реальную загадку: чем объяснить курьезный провал в памяти полковника Табареса, его полное забвение за такое короткое время лица и даже имени того, о ком он ранее рассказывал. (Я не приемлю, не желаю принять самый простейший домысел: будто мне вздремнулось при первом нашем свидании.) Очень забавна мистическая версия Ульрики фон Кюльман. Педро Дамьян, говорила Ульрика, пал в сражении и, умирая, умолял Бога вернуть его в Энтре-Риос. Бог колебался секунду, — оказывать ли подобную милость? — а его проситель уже успел умереть, и люди видели его смерть. Бог, который не может изменить прошлое, но в силах изменять образы прошлого, подменил образ смерти потерей сознания, и человек-тень вернулся в провинцию

Энтре-Риос. Вернулся, но следует помнить, что он был лишь собственной тенью. Он жил в одиночестве, без женщины, без друзей; он обладал всем, что любил, но как бы издали, сквозь стекло; он «умер», и его призрачный образ растекся водою в воде. Такое построение надуманно, тем не менее, должно быть, оно и подвело меня к правильному решению (ныне думаю — единственно правильному), которое одновременно и очень просто, и трудновообразимо. Каким-то таинственным образом я на него наткнулся в трактате Пьера Дамиани «De Omnipotentia», обратиться к которому меня заставили два стиха из песни XXI «Рая», как раз касающиеся темы идентичности. В главе пятой трактата Пьер Дамиани — вопреки Аристотелю и Фредегару де Туру — утверждает, что Бог может сделать несуществующим то, что когда-то существовало. Прочитал я эти древние теологические споры, и мне стала понятной трагическая история дона Педро Дамьяна.

Я толкую ее так. Дамьян вел себя как последний трус на поле боя под Масольером и отдал всю свою жизнь искуплению постыдной слабости. Он возвратился к себе в Энтре-Риос.

И больше не поднял ни на кого руки, не украсил шрамом ничье лицо, не стремился прослыть удалцом, но на поле Ньянкая яростно воевал с наступающей сельвой и с дикими лошадьми. Он сотворил, конечно, сам того не ведая, чудо. Думал с затаенной надеждой: если судьба пошлет мне еще сражение, я сумею себя показать. Сорок лет ждал он этого часа, и судьба наконец послала его Дамьяну в день смерти. Но послала в виде галлюцинации — впрочем, еще древние греки знали, что мы лишь тени из сновидений. В агонии он снова бросился в бой, и вел себя как мужчина, и мчался впереди в последней атаке, и пуля попала ему прямо в сердце. Так в 1946-м благодаря своему страстному желанию Педро Дамьян умер в финальном сражении под Масольером на исходе зимы в 1904-м.

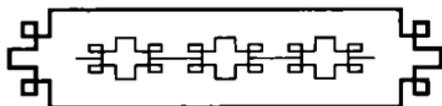
В «Summa Teologica» отрицается, что Богу дано зачеркивать прошлое, но ничего не пишется о сложном переплетении причин и следствий, которое столь всеобъемлюще и сокровенно, что стоит упустить один-единственный факт, будь даже он далек и незначителен, как исказится наше настоящее. Видоизменить прошлое не значит изменить только факт; это

значит — зачеркнуть те его последствия, которым надлежит иметь бесконечное продолжение. Говоря иными словами, это значит создать две всеобщие истории. В первой (к примеру) Педро Дамьян умер в провинции Энтре-Риос в 1946-м; во второй — в битве при Масольере в 1904-м. В этой, последней, истории мы и живем сейчас, однако отказ от первой произошел не сразу и породил несуразности, о которых я рассказал. Полковник Дионисио Табарес как бы прошел этапы разных историй: сначала он вспомнил, что Дамьян поступил как трус; потом абсолютно забыл о нем, а затем вспомнил о его славной смерти. Почти о том же говорит случившееся с хуторянином Абарко: он умер скорее всего оттого, что его память была слишком отягчена событиями, связанными с доном Педро Дамьяном.

Если говорить обо мне, я постарался избежать подобной опасности. Мне удалось обнаружить и наблюдать явление, не подвластное человеку, — своего рода бесчинство разума, хотя некоторые обстоятельства умеряют мою тихую радость. Для начала скажу, что я не уверен в достоверности своего изложения событий. Думается, в моем рассказе есть преврат-

ные воспоминания. Думается, Педро Дамьян (если он был) назывался не Педро Дамьяном и я помню его под этим именем, дабы когда-нибудь поверить, что сюжет моего рассказа был мне подсказан идеями Пьера Дамиани. Тем же самым объясняется, пожалуй, и упоминание о поэме, фигурирующей в этом рассказе и воспевающей необратимость прошлого. В 1951-м я стану думать, что написал фантастический рассказ, но на самом деле я сообщил о реальном событии. И наивный Вергилий две тысячи лет назад тоже думал, что возвестил о рождении человека, а оказалось — о сотворении Бога.

Бедный Дамьян! Смерть настигла его, двадцатилетнего, в пагубной и никчемной войне, в сражении против своих же сограждан, но он получил то, чего так страстно желал и к чему так долго стремился, и, может быть, нет на свете большего счастья.



Deutsches Requiem*

Вот, Он убивает меня,
но я буду надеяться.

Иов 13:15

Меня зовут Отто Дитрих цур Линде. Один из моих предков, Кристоф цур Линде, пал в кавалерийской атаке, решившей победный исход боя при Цорндорфе. Прадед с материнской стороны Ульрих Форкель погиб в Маршенуарском лесу от пули французского ополченца в последние дни 1870 года; капитан Дитрих цур Линде, мой отец, в 1914-м отличился под Намюром, а двумя годами позже — при форсировании Дуная**. Что до меня, я буду расстрелян

* Немецкий реквием (*нем.*).

** Примечательно, что рассказчик не упоминает самого известного из своих предков, теолога и гебраиста Иоханнеса Форкеля (1799—1846), применившие-

как изверг и палач. Суд высказался по этому поводу с исчерпывающей прямоотой, я с самого начала признал себя виновным. Утром, лишь только тюремные часы пробьют девять, я вступлю во врата смерти; естественно, я думаю сейчас о своих предках, ведь я уже почти рядом с их тенями, в известном смысле я и есть они.

Пока — к счастью, недолго — шел суд, я не произнес ни слова; оправдываться тогда значило бы оттягивать приговор и могло показаться трусостью. Теперь — другое дело: ночью накануне казни можно говорить, не опасаясь ничего. Я не мечтаю о прощении, поскольку не чувствую за собой вины, — я всего лишь хочу быть понят. Тот, кто сумеет меня услышать, постигнет историю Германии и будущее мира. Убежден: такие судьбы, как моя, непривычные и поразительные сегодня, завтра превратятся в общее место. Утром я умру, но останусь символом грядущих поколений.

Я родился в 1908 году в Мариенбурге. Две теперь уже почти угасшие страсти — музыка и

го гегелевскую диалектику к исследованию христианства, чьи переводы нескольких апокрифов вызвали критику Хенгстенберга и одобрение Тило и Гезениуса. — *Примеч. изд.*

метафизика — помогли мне с достоинством и даже торжеством перенести самые мрачные годы. Не сумею перечислить всех, кому признателен, но о двоих умолчать не вправе. Это Брамс и Шопенгауэр. Многим обязан я и поэзии; прибавлю к названным еще одно широко известное германское имя — Уильям Шекспир. Вначале меня занимала теология, но от этой фантастической науки (и христианской веры как таковой) мой ум навсегда отвадили Шопенгауэр — с помощью прямых доводов, а Шекспир и Брамс — неисчерпаемым разнообразием своих миров. Пусть же тот, кто, дрожа от любви и благодарности, замрет, потрясенный, над тем или иным пассажем в сочинениях этих счастливцев, знает, что и я, мерзостный, тоже замирал над ними.

Году в 1927-м в мою жизнь вошли Ницше и Шпенглер. Один автор восемнадцатого века считает, что слыть должником своих современников не хочется никому; чтобы освободиться от гнетущего влияния, я написал статью «Abrechnung mit Spengler»*, в которой отметил, что самое последовательное воплощение черт, именуемых этим литератором фаустиан-

* «Расчет со Шпенглером» (нем.).

скими, — не путаная драма Гете*, а созданная за двадцать веков до нее поэма «De rerum natura»**. Тем не менее я отдал должное откровенности историсофа, его истинно немецкому (kerndeutsch) воинственному духу. В 1929 году я вступил в Партию.

Не стану задерживаться на годах моего учения. Они мне достались тяжелей, чем многим; не лишенный твердости, я не создан для насилия. Однако я понял, что мы стоим на пороге новых времен, и эти времена — как некогда начальные эпохи ислама или христианства — требуют людей нового типа. Лично мне мои сотоварищи внушали только отвращение, и напрасно я уверял себя, будто ради высокой объединившей нас цели должно жертвовать всем личным.

Богословы утверждают, что стоит Господу на миг оставить попечение хотя бы вот об этой

* Иные нации живут в полной невинности, в себе и для себя, подобно минералам или метеорам; Германия же — это всеобъемлющее зеркало вселенной, сознание мира (das Weltbewusstsein). Гете — прототип этой вселенской отзывчивости. Я не критикую, но при всем желании не узнаю в нем фаустианского человека шпенглеровского образца.

** «О природе вещей» (лат.).

моей пишущей руке, и она тут же обратится в ничто, словно вспыхнув незримым огнем. Никто, добавлю от себя, не смог бы существовать, никто не сумел бы выпить воды и отломить хлеба, не будь всякий наш шаг оправдан. Для каждого это оправдание свое: я жил, ожидая беспощадной войны, которая утвердит нашу веру. И мне было достаточно знать свое место — место простого солдата этих грядущих битв. Я только боялся порой, как бы из-за трусости Англии или России все не рухнуло. Случай — или судьба? — соткали мне иное будущее: вечером первого марта 1939 года в Тильзите разразились беспорядки, о которых не сообщала пресса; в улочке за синагогой мне двумя пулями раздробило бедро, ногу пришлось ампутировать*. Через несколько дней наши войска вступили в Богемию; когда об этом объявили сирены, я полусидел на госпитальной койке, пытаюсь потонуть и забыться в томике Шопенгауэра. Символ моей бесплодной судьбы, на подоконнике дремал огромный пушистый кот.

Я перечитывал то место в «Parerga und Paralipomena», где сказано: все, что может при-

* Есть сведения, что последствия этого ранения оказались куда серьезней. — *Примеч. изд.*

ключиться с человеком от рождения до смерти, предрешено им самим. Поэтому всякое неведение — уловка, всякая случайная встреча — свидание, всякое унижение — раскаяние, всякий крах — тайное торжество, всякая смерть — самоубийство. Ничто так не утешает, как мысль, будто все наши несчастья добровольны; эта индивидуальная телеология обнаруживает в мире подспудный порядок и чудесно сближает нас с богами. Какой неведомый предлог (ломал я голову) заставил меня искать в тот вечер пули и увечья? Не страх перед боем, нет; уверен, причина глубже. В конце концов я, кажется, понял. Погибнуть за веру легче, нежели жить ей одною; сражаться с хищниками в Эфесе не так тяжело (ведь столько безымянных мучеников прошли через это), как стать Павлом, слугой Иисусу Христу; поступок короче человеческого века. Битва и победа — своего рода льготы; быть Наполеоном проще, чем Раскольниковым. Седьмого февраля 1941 года меня назначили заместителем коменданта концентрационного лагеря в Тарновицах.

Служба не доставляла мне радости, но я исполнял долг. Трус проверяется под огнем;

милосердие и жалость ищут темниц и чужой боли. По сути, нацизм — моральное учение, призывающее совлечь с себя прогнившую плоть ветхого человека, чтобы облечься в новую. В бою, под окрик командиров и общий рев, это превращение испытывал каждый; иное дело — отвратный застенок, где предательская жалость искушает нас давно забытой любовью. Я не случайно пишу эти слова: жалость к высшему — последний грех Заратустры. И я, признаюсь, почти совершил его, когда к нам перевели из Бреслау известного поэта Давида Иерусалема.

Это был мужчина лет пятидесяти. Обойденный благами этого мира, гонимый, униженный и поруганный, он посвятил свой дар воспеванию счастья. Помнится, Альберт Зёргель в книге «*Dichtung der Zeit*»* сравнил его с Уитменом. Сближение не слишком удачное: Уитмен славит мир наперед, оптом, почти безучастно; Иерусалем радуется каждой мелочи со страстью ювелира. Он никогда не впадает в перечисления, в каталогизацию. Я и сегодня могу, строка за строкой, повторить гекзаметры

* «Современная поэзия» (нем.).

его великолепного «Живописца Цзы Яна, мастера тигров», чьи стихи напоминают разводы тигровой шкуры и полнятся неисчислимыми и безмолвными пересекающими их тиграми. Не забыть мне и монолога «Розенкранц беседует с ангелом», где лондонский процентщик XVI века пытается на смертном одре вымолить отпущение грехов и не знает, что втайне оправдан, внушив одному из клиентов (которого и видел-то всего раз и, конечно, не помнит) образ Шейлока. Мужчина с незабываемыми глазами, пепельным лицом и почти черной бородой, Давид Иерусалем выглядел типичным сефардом, хоть и принадлежал к ничтожным и бесправным ашкенази. Я был с ним строг, не поддаваясь ни сочувствию, ни уважению к его славе. Я давно понял, что адом может стать все: лицо, слово, компас, марка сигарет в состоянии свести с ума, если нет сил вычеркнуть их из памяти. Разве не безумец тот, кто днем и ночью видит перед собой карту Венгрии? Я применил этот принцип к дисциплинарному режиму в нашем лагере и...* К кон-

* Здесь мы были вынуждены опустить несколько строк. — *Примеч. изд.*

цу 1942 года Иерусалем сошел с ума, первого марта 1943-го он покончил с собой*.

Не знаю, понял ли Иерусалем, что я убил его, убивая в себе жалость. Для меня он не был ни человеком, ни даже евреем; он стал символом всего, что я ненавидел в своей душе. Я пережил вместе с ним агонию, я умер вместе с ним, я в каком-то смысле погубил себя вместе с ним; так я сделался неуязвимым.

А над нами проносились великие дни и великие ночи военных удач. Мы вдыхали воздух, пьянивший, как любовь. Сердце замирало от ужаса и восторга, словно захлестнутое прибоем. Все в ту пору было иным, новым, даже сны. (Может быть, я просто никогда не знал настоящего счастья, а бедам, как известно, нужен свой потерянный рай.) Не было тогда челове-

* Ни в архивах, ни в печатных трудах Зёргеля имени Иерусалема не встречается. Нет его и в историях немецкой литературы. Не думаю, однако, что этот герой вымышлен. По приказу Отто Дитриха цур Линде были казнены многие интеллектуалы еврейского происхождения, среди них — пианистка Эмма Розенцвейг. «Давид Иерусалем», вероятно, символ многочисленных судеб. Сказано, что он погиб 1 марта 1943 года; как помним, 1 марта 1939 года рассказчик был ранен в Тильзите. — *Примеч. изд.*

ка, который не вбирал бы жизнь полной грудью, дорожа всем, что только способен вместить и перечувствовать; и не было таких, кто не страшился бы потерять это бесценное сокровище. Но моему поколению предстояло пережить все: сначала — победу, потом — гибель.

В октябре — ноябре 1942 года во втором бою у Эль-Аламейна пал в египетских песках мой брат Фридрих; несколько месяцев спустя воздушный налет стер с лица земли наш родовой особняк; другой в конце 43-го — мою лабораторию. Осажденный всем миром, погибал Третий рейх: он был один против всех, и все — против него. И тогда случилось то, что я, кажется, осознал только теперь. Я верил, будто способен испить чашу гнева, но обнаружил на дне неожиданный вкус — странный, почти пугающий вкус счастья. «Я рад поражению, — думалось мне, — поскольку втайне чувствую себя виновным и только так могу искупить содеянное». «Я рад поражению, — думалось мне, — потому что конец близок и у меня нет больше сил». «Я рад поражению, — думалось мне, — поскольку оно настало, поскольку им проникнуто все, что было, есть и будет, поскольку ис-

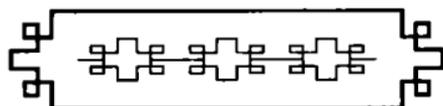
правлять или оплакивать случившееся — значит покушаться на ход вещей». Я перебирал эти объяснения, пока не пришел к единственно верному.

Давно сказано, что люди рождаются на свет последователями либо Аристотеля, либо Платона. Иными словами, всякий более или менее отвлеченный спор входит в давнюю и бесконечную полемику Аристотеля и Платона; через века и пространства сменяются имена, наречия, лица, но не извечные противники. Эта скрытая преемственность есть и в истории народов. Громя в болотной грязи легионы Вара, Арминий не думал, что закладывает основы Германской империи; переводя Библию, Лютер не подозревал, что выковывает народ, который уничтожит Библию навсегда; достигнутый русской пулей в 1758 году, Кристоф цур Линде в каком-то смысле предвозвестил наши победы в 1914-м. Гитлер считал, что сражается ради одной страны, а сражался во имя всех, даже тех, кого преследовал и ненавидел. И не важно, что сам он не ведал об этом: это знала его кровь, его воля. Мир погибал от засилья евреев и порожденного ими недуга — веры в Христа; мы привили ему беспощадность и веру

в меч. Теперь этот меч обратился против нас, и мы подобны искуснику, соткавшему лабиринт и обреченному блуждать в нем до конца дней, или царю Давиду, осудившему чужака и обречшему его на смерть, но вдруг в озарении слышащему: «Этот человек — мы». Чтобы воздвигнуть новый порядок, нужно многое разрушить; теперь мы знаем, что среди этого многого — наша Германия. Мы пожертвовали не просто жизнью: мы пожертвовали судьбой любимой Отчизны. Пусть другие клянут и плачут; моя радость в том, что наша жертва не знает пределов и не имеет равных.

Сегодня на землю нисходит безжалостная эпоха. Ее выковали мы — мы, павшие первыми. Разве дело в том, что Англия послужит молотом, а мы — наковальней? Главное, на земле будет царить сила, а не рабий христианский страх. Если победа, неподсудность и счастье не на стороне Германии, пусть они достаются другим. Да будет благословен рай, даже если нам уготован ад.

Я всматриваюсь в зеркало, чтобы понять, кто я и каким стану через несколько часов перед лицом смерти. Плоть моя может содрогнуться, я — нет.



Поиски Аверроэса

S'imaginant que la tragedie n'est
autre chose que l'art de louer...

*Ernest Renan, «Averroes», 48 (1861)**

Абу-ль-Валид Мухаммед ибн Ахмет ибн Мухаммед ибн Рушд (целый век шло это длинное имя к Аверроэсу через Бенраиста и Авенриса, и даже через Абен-Рассада и Филиуса Росадиса) писал одиннадцатую главу трактата «Тахафут-уль-Тахафут» («Уничтожение уничтожения»), в котором утверждается, вопреки мнению персидского аскета Газали, автора «Тахафут-уль-Фаласифа» («Опровержение философов»), что божеству ведомы лишь общие за-

* Полагая, что трагедия есть не что иное, как искусство восхваления... — Эрнест Ренан, «Аверроэс, 48 (1861) (фр.).

коны вселенной, то, что касается видов, а не индивидуума. Писал он с неспешной уверенностью, справа налево; строя силлогизмы и соединяя звеньями длинные абзацы, он все время чувствовал, как дыхание благоденствия вокруг себя, свой прохладный и просторный дом. В недрах сиесты хрипло ворковали влюбленные голуби, из невидимого патио подымалось журчание фонтана, и Аверроэс, чьи предки были уроженцами аравийских пустынь, всей плотью своей ощущал благодарность за присутствие воды. Ниже располагались сады и уэрта; еще ниже — неумный Гвадалквивир, а дальше — любимый город Кордова, столь же светлый, как Багдад или Эль-Каир, город, подобный сложному и утонченному музыкальному инструменту, а вокруг (это Аверроэс тоже чувствовал) простиралась до горизонта земля Испании, на которой не так-то много всего, но зато каждая вещь расположилась прочно и навеки.

Перо бежало по странице, доводы цеплялись один за другой, доводы неопровержимые, однако блаженное состояние Аверроэса омрачала одна небольшая забота. Причиной был не «Тахафут», труд, в общем, случайный, но про-

блема из области филологии, связанная с монументальным произведением, которое должно было оправдать его бытие перед человечеством, — то был комментарий к Аристотелю. Этот грек, источник всяческой философии, был ниспослан людям, дабы научить их всему, что только возможно знать: истолковать его книги, как улемы толкуют Коран, было нелегкой целью Аверроэса. История знает не много таких прекрасных и возвышенных фактов, как этот подвиг врача-араба, посвятившего себя мыслям человека, от которого его отделяли четырнадцать веков; к трудностям существа дела надо добавить то, что Аверроэс, не знавший сирийского и греческого языков, работал над переводом перевода. Накануне работу остановили два неясных ему слова в начале «Поэтики». Этими словами были «трагедия» и «комедия». Он встречал их много лет тому назад в третьей книге «Риторики»; никто в областях ислама не мог догадаться, что они означают. Тщетно листал он страницы Александра Афродисийского, тщетно сличал версии несторианина Хунайна Ибн Исхака и Абу Бишра Матты. Два этих загадочных слова испещряли текст «Поэтики», опустить их было невозможно.

Аверроэс отложил перо. Сказав себе (без особой уверенности), что мы часто ищем то, что рядом лежит, он спрятал рукопись «Тахафута» и подошел к полкам, где стояли переписанные персидскими каллиграфами многочисленные тома «Мохкама» слепого Ибн Сиды. Смешно было думать, там он, конечно, справлялся, однако его соблазнило праздное удовольствие вновь полистать эти тома. От этого ученого развлечения его отвлекли звуки как бы напева. Он поглядел через зарешеченный балкон — внизу, в маленьком немощем патио, играли несколько полуголых мальчиков. Один из них, стоя на плечах у другого, явно подражал муэдзину: крепко зажмурив глаза, он распевал «Нет Бога, кроме Аллаха». Тот, что поддерживал его, стоял неподвижно, изображая минарет; третий, на коленях, ползал в пыли, представляя собрание верующих. Игра быстро прекратилась — каждый хотел быть муэдзином и никто — верующим или башней. Аверроэс слышал, как они спорили на «грубом» наречии, то есть на возникающем испанском языке мусульманских плебеев полуострова. Он раскрыл «Китаб уль аин»* Халиля и с гордостью

* «Книга-словарь» (араб.).

подумал, что во всей Кордове (а возможно, и во всем Аль-Андалусе) нет другой копии совершенного творения, кроме вот этой, подаренной ему эмиром Якубом аль-Мансуром в Танжере. Название гавани напомнило ему, что нынче вечером путешественник Абу-ль-Касим аль-Ашри, возвратившийся из Марокко, будет вместе с ним ужинать у Фараджа, знатока Корана. Абу-ль-Касим рассказывал, что он достиг областей империи Син (то есть Китая); его враги, с той особой логикой, какую порождает ненависть, клялись, что нога его не ступала на землю Китая, но также — что в храмах той страны он хулил Аллаха. Встреча, несомненно, продлится несколько часов, и Аверроэс поспешно взялся снова за «Тахафут». Трудился он до самых сумерек.

Беседа у Фараджа перешла от несравненных добродетелей правителя к добродетелям его брата эмира, затем, уже в саду, заговорили о розах. Абу-ль-Касим, на них и не взглянув, клялся, что нет роз лучше тех, которые украшают андалузские виллы. Фарадж не дал себя смутить — он заметил, что ученый Ибн Кутайба описывает замечательную разновидность вечноцветущей розы, растущей в садах Индос-

тана, ярко-красные лепестки которой образуют буквы, гласящие: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад пророк Его». Он прибавил, что Абу-ль-Касим, наверно, видел эти розы. Абу-ль-Касим взглянул на него с тревогой. Если ответить «да», все справедливо сочтут его бессовестным и наглым обманщиком; если ответить «нет», сочтут безбожником. Он предпочел пробормотать, что, мол, ключи от всех тайн у Господа и нет на земле ничего, ни увядшего, ни зеленого, что не было бы записано в Его Книге. Слова эти, взятые из одной из первых сур, были встречены почтительным шепотом. Возгордясь победой своего хитроумия, Абу-ль-Касим прибавил, что Господь в своих творениях совершенен и непостижим. Тогда Аверроэс, предвосхищая будущие рассуждения еще не родившегося Юма, заявил:

— Мне легче допустить наличие ошибки у ученого Ибн Кутайбы или у переписчиков, чем допустить, что земля порождает розы с символом веры.

— Именно так. Великие и справедливые слова, — молвил Абу-ль-Касим.

— Один путешественник, — вспомнил поэт Абд аль-Малик, — говорит о дереве, плоды

которого — зеленые птицы. Мне куда легче поверить этому, чем в розы с буквами.

— Возможно, тут цвет птиц, — сказал Аверроэс, — способствует чуду. Кроме того, плоды и птицы принадлежат к миру природы, а письмо — это искусство. Перейти от листьев к птицам легче, чем от роз к буквам.

Кто-то из гостей с негодованием отверг мысль, будто письмо есть искусство, ибо оригинал Корана — «Мать Книги» — предшествовал созданию мира и хранится в небесах. Еще один гость упомянул Джахиза из Басры, сказавшего, что Коран — это субстанция, способная принять форму человека или животного, каковое мнение как будто согласуется с мнением тех, кто приписывает Корану два лица. Фарадж принялся многословно излагать ортодоксальную точку зрения. Коран (сказал он) — это один из атрибутов Бога, подобно Его милосердию; Коран записывают в книгу, его произносят языком, его запоминают сердцем — речь и знаки письма суть творения людей, но Коран неизменен и вечен. Аверроэс, написавший комментарий к «Республике», мог бы сказать, что «Мать Книги» — это как бы ее платоническая идея, но

он увидел, что богословие — предмет, для Абу-ль-Касима вовсе недоступный.

Прочие гости, также это подметившие, пристали к Абу-ль-Касиму с просьбой поведать о какой-нибудь диковине. В те времена, как и в нынешние, мир был жесток: путешествовать по нему могли смельчаки, но также негодяи, готовые на все. Память Абу-ль-Касима была как бы зеркалом его душевной робости. Что он мог рассказать? Вдобавок они требуют диковин, а диковинное разве удастся поведать другому? Луна Бенгалии не похожа на луну Йемена, хотя ее можно описать теми же словами. Абу-ль-Касим помедлил, потом начал:

— Человек, посещающий разные края и города, — вкрадчиво заговорил он, — видит многое достойное упоминания. Вот, например, история, о которой я рассказывал только один раз султану турок. Она произошла в Син Калане (Кантоне), где Река Жизни впадает в море.

Фарадж спросил, на сколько лиг удален этот город от стены, которую Искандер Зу-л-Карнаин (Двурогий Александр Македонский) воздвиг, дабы преградить путь Гогу и Магогу.

— Она отделена от города пустыней, — сказал Абу-ль-Касим с невольным высокомери-

ем. — Сорок дней надобно идти кафиле (каравану), чтобы увидеть вдаль ее башни, и, говорят, еще столько же, чтобы до нее добраться. В Син Калане я не знал ни одного человека, который бы видел ее или видел человека, который ее видел.

Страх перед чудовищной бесконечностью, перед голым пространством, перед голой материей на мгновение охватил Аверроэса. Он оглядел симметрично устроенный сад и почувствовал себя постаревшим, бесполезным, нереальным. Абу-ль-Касим продолжал:

— Однажды вечером мусульманские купцы в Син Калане повели меня в дом из раскрашенного дерева, в котором находилось много народу. Описать этот дом невозможно — это скорее была одна большая зала с рядами галерей или балконов, расположенными один над другим. Люди, сидя на этих балконах, ели и пили, то же самое делали люди внизу, на полу, и на каком-то возвышении, вроде террасы. Люди на террасе били в барабаны и играли на лютнях, кроме пятнадцати или двадцати человек — эти были в красных масках, — которые молились, пели и разговаривали. Они страдали в оковах, но тюрьмы не было видно; скакали

верхом, но лошадей не было; сражались, но мечи были из тростника; умирали, а потом вставляли на ноги.

— Поступки умалишенных, — сказал Фарадж, — превосходят воображение разумного человека.

— Они не были умалишенными, — пришлось Абу-ль-Касиму пояснить. — Как сказал мне один из купцов, они изображали какую-то историю.

Никто не понял, никто, видимо, и не пытался понять. Абу-ль-Касим, смущенный, перешел от спокойного рассказа к дерзким рассуждениям. Размахивая руками, он заговорил снова:

— Вообразим себе, что кто-то показывает историю, вместо того чтобы ее рассказывать. Пусть, к примеру, это будет история о спящих в Эфесе. Мы видим, как они удаляются в пещеру, видим, как молятся и засыпают, видим, как спят с открытыми глазами, видим, как во время сна растут, видим, как просыпаются через триста девять лет, видим, как дают торговцу старинную монету, видим, как они пробуждаются в раю, видим, как с ними пробуждается собака. Нечто подобное нам показали в тот вечер люди на террасе.

— Люди эти говорили? — спросил Фарадж.

— Разумеется, говорили, — сказал Абу-ль-Касим, превращаясь в апологета представления, которое едва помнил и на котором изрядно скучал. — Говорили, и пели, и рассуждали!

— В таком случае, — сказал Фарадж, — не требовалось двадцати человек. Один балагур может рассказать любую историю, даже самую сложную.

Его мнение все одобрили. Стали восхвалять достоинства арабского языка, которым пользуется Бог, дабы управлять ангелами; затем заговорили о поэзии арабов. Абд аль-Малик, отдав ей положенную дань хвалебных слов, обозвал устаревшими поэтов, которые в Дамаске или в Кордове все еще держатся пастушеских образов и словаря бедуинов. Ведь это нелепо, сказал он, чтобы человек, перед глазами которого простирается Гвадалквивир, воспевал воду из колодца. Он призывал обновить древние метафоры — когда, мол, Зухайр сравнил судьбу со слепым верблюдом, эта фигура могла восхищать людей, но за пять веков восхищения она поизносилась. Все одобрили его суждение, которое слышали уже много раз и из многих уст. Аверроэс молчал. Наконец он за-

говорил, не столько для других, но как бы размышляя вслух.

— Случалось и мне, — сказал Аверроэс, — не так красноречиво, но с подобными же доводами защищать мнение, которое высказал Абд аль-Малик. В Александрии говорили, что не может согрешить лишь тот, кто согрешил и раскаялся; добавим к этому: чтобы быть свободным от заблуждения, надо побывать у него в плену. Зухайр в «Муаллакат» говорит, что по прошествии восьмидесяти лет страданий и славы он видел много раз, как судьба обрушивается вдруг на человека, подобно слепому верблюду. Абд аль-Малик полагает, что этот образ уже не способен восхищать. На его замечание можно было бы возразить многое. Первое: если бы целью стиха было удивить, его время измерялось бы не веками, но днями и часами, а может, и минутами. Второе: знаменитый поэт не столько изобретатель, сколько открыватель. В похвалу Ибн Шарафа из Берхи говорят, что только он мог придумать, будто звезды на утренней заре медленно опадают, как листья опадают с деревьев; если они правы, этот образ ничего не стоит. Образ, который может быть придуман только одним челове-

ком, никого не трогает. На земле бесконечное множество всяких вещей, каждую можно сравнивать с любой другой. Сравнение звезд с листьями не менее произвольно, чем сравнение их с рыбами или с птицами. И напротив, нет такого человека, который бы хоть раз не почувствовал, что судьба могуча и тупа, что она безвинна и в то же время беспощадна. Ради этой мысли, которая может быть мимолетной или неотвязной, но которой никто не избежал, и написан стих Зухайра. Сказать лучше, чем сказано у него, невозможно. Кроме того — и это, пожалуй, главное в моем рассуждении, — время, разоряющее дворцы, обогащает стихи. Стих Зухайра, написанный им тогда в Аравии, сопоставлял два образа — образ старого верблюда и образ судьбы; но, прочитанный теперь, он вдобавок воскрешает память о Зухайре и побуждает нас отождествить свои горести с горестями этого умершего араба. Прежде у этого образа было два свойства, теперь их стало четыре. Время расширяет сферу стиха, и я знаю такие строки, что, подобно музыке, звучат всегда и для всех людей. Так, когда меня несколько лет назад в Марракеше мучила тоска по Кордове, мне приятно было повторять воз-

глас Абдар-Рахмана, обращенный им в садах
 Русафы к африканской пальме:

И ты, о пальма, тоже
 В садах сих чужестранка!..

Удивительное свойство поэзии! Слова, сочиненные королем, тосковавшим по Востоку, помогали мне, сосланному в Африку, в моей ностальгии по Испании.

Затем Аверроэс заговорил о древних поэтах, о тех, кто во Времена Темноты, до ислама, уже все сказали на беспредельном языке пустынь. Встревоженный — и не без основания — мелочной вычурностью Ибн Шарафа, он сказал, что у древних и в Коране заключена вся поэзия, и осудил как невежество и суетность притязания вводить новшества. Все слушали его с удовольствием, ибо он защищал старину.

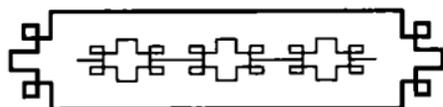
Муэдзины призывали на молитву первого луча, когда Аверроэс вернулся в свою библиотеку. (В гареме за это время черноволосые рабыни успели помучить рабыню рыжеволосую, но он об этом узнает только к вечеру.) Что-то помогло ему понять смысл двух темных слов. Твердым, каллиграфически изящным почерком он добавил в рукописи следующие строч-

ки: *«Аристу (Аристотель) именует трагедией панегирики и комедией — сатиры и проклятия. Великолепные трагедии и комедии изобилуют на страницах Корана и в “Муаллакат” семи священных».*

Он почувствовал, что хочет спать и что немного озяб. Размотав тюрбан, он поглядел на себя в металлическое зеркало. Не знаю, что увидели его глаза, потому что ни один историк не описал его черт. Знаю лишь, что внезапно он исчез, словно пораженный незримою молнией, и вместе с ним исчезли дом, и невидимый фонтан, и книги, и рукописи, и голуби, и множество черноволосых рабынь, и дрожащая рабыня с рыжими волосами, и Фарадж, и Абу-ль-Касим, и кусты роз, и, возможно, Гвадалквивир.

В этом рассказе я хотел бы описать процесс одного поражения. Сперва я подумывал о том архиепископе Кентерберийском, который вознамерился доказать, что Бог един; затем об алхимиках, искавших философский камень; затем об изобретавших трисекцию угла и квадратуру круга. Но потом я рассудил, что более поэтичен случай с человеком, ставившим себе цель, доступную другим, но не ему. Я вспомнил

об Аверроэсе, который, будучи замкнут в границах ислама, так и не понял значения слов «трагедия» и «комедия». Я изложил этот случай; в процессе писания я чувствовал то, что должен был чувствовать упоминаемый Бертоном бог, который задумал создать быка, а создал буйвола. Я почувствовал, что мое произведение насмехается надо мной. Почувствовал, что Аверроэс, стремившийся вообразить, что такое драма, не имея понятия о том, что такое театр, был не более смешон, чем я, стремящийся вообразить Аверроэса, не имея иного материала, кроме крох Ренана, Лейна и Асина Паласьоса. Почувствовал, уже на последней странице, что мой рассказ — отражение того человека, каким я был, пока его писал, и, чтобы сочинить этот рассказ, я должен был быть именно тем человеком, а для того, чтобы быть тем человеком, я должен был сочинить этот рассказ, и так — до бесконечности. (В тот миг, когда я перестаю верить в него, «Аверроэс» исчезает.)



Заир*

Уолли Зеннер

В Буэнос-Айресе Заир — обычная монета достоинством в двадцать сентаво; на той монете навахой или перочинным ножом были подчеркнуты буквы N и T и цифра 2; год 1929-й выгравирован на аверсе. (В Гуджарате в конце восемнадцатого века Захиром звали тигра; на Яве — слепого из мечети в Суракарте, которого верующие побивали камнями; в Персии Захиром называлась астролябия, которую Надир-шах велел забросить в морские глубины; в тюрьмах Махди году в 1892-м это был маленький, запеленутый в складки тюрбана компас, к которому прикасался Рудольф Карл фон

* Захир (*искаж. араб.*).

Слатин; в кордовской мечети, согласно Зотенбергу, это была жилка в мраморе одной из тысячи двухсот колонн; в еврейском квартале Тетуана — дно колодца.) Сегодня тринадцатое ноября; а седьмого июня, на рассвете, в руки мне попал Заир; теперь я уже не тот, каким был тогда, хотя еще в состоянии припомнить, а возможно, даже и рассказать о случившемся. Пока еще, хотя бы отчасти, я остаюсь Борхесом.

Шестого июня умерла Теодолина Вильяр. До 1930 года ее портреты заполняли светские журналы; возможно, обилие их способствовало тому, что ее считали красивой, хотя не все ее изображения безоговорочно подтверждали эту гипотезу. Впрочем, Теодолина Вильяр не столько заботилась о красоте, сколько о совершенстве. Евреи и китайцы разработали жесткие правила на все случаи жизни; в Мишне мы читаем, что в субботу после наступления сумерек портной не должен выходить на улицу с иглой; в Книге обрядов говорится, что гость первый бокал должен пить с серьезным видом, а второй — с почтительным и счастливым. Подобным же образом и даже более скрупулезно соблюдала разнообразные правила и ритуалы Теодолина Вильяр. Словно приверженец уче-

ния Конфуция или Талмуда, она стремилась к безупречной правильности каждого поступка, и старания ее были тем упорнее и тем более достойны восхищения, что критерии, которыми она руководствовалась, не являлись вечными, но зависели от прихотей Парижа или Голливуда. Теодолина Вильяр появлялась в положенных местах, в положенное время со всеми положенными для данного случая атрибутами и, как положено, с видом человека, уставшего от всего этого; однако вскоре и этот вид, и атрибуты, и час, и места, совсем еще недавно считавшиеся положенными, выходили из моды, и тогда они незамедлительно начинали служить (в устах Теодолины Вильяр) символом дурного тона. Она, как Флобер, искала абсолюта, но искала его в мимолетном. Жизнь ее была образцово-показательной, и тем не менее изнутри ее безостановочно грызло отчаяние. Она то и дело пускалась в метаморфозы, будто желала убежать от себя самой: и цвет ее волос, и прически беспрестанно менялись. Точно так же меняла она улыбку, цвет лица, разрез глаз. С 1932 года она, бросив на это все силы, стала худой... Война заставила ее о многом задуматься. Париж оккупирован немцами — как в таких

условиях следовать моде? Один иностранец, а к иностранцам она всегда относилась подозрительно, позволил себе злоупотребить ее доверием и продал ей некоторое количество шляпок с плоской тульей; не прошло и года, как выяснилось, что эти нашлапки *никогда не носили* в Париже, а следовательно, они были не шляпками, а чьим-то ни на чем не основанным и никем не освященным капризом. Беда не приходит одна; доктор Вильяр вынужден был переехать на улицу Араос, и портрет его дочери стал украшать рекламу кремов и автомобилей. (Кремов, которыми ей теперь приходилось пользоваться в огромных количествах, и автомобилей, которых у нее больше не было!) Она знала, что успешно упражняться в любимом искусстве можно лишь с очень большими деньгами, и предпочла удалиться от света. Кроме того, ей претило состязание с пустыми, ничтожными девицами. Мрачная конура на улице Араос оказалась слишком дорогой; и шестого июня Теодолина Вильяр допустила промашку — умерла в самом сердце Южного квартала. Надо ли признаваться, что я, движимый наиболее искренней из всех аргентинских страстей — снобизмом, был влюблен в нее и, узнав

о ее смерти, не мог сдержать слез? Читатель, наверное, и сам успел догадаться об этом.

После смерти лицо покойного, меняясь под действием разложения, приобретает прежние черты. В какой-то момент той приведшей меня в смятение ночи шестого июня Теодолина Вильяр, точно по волшебству, вдруг стала такой, какой была двадцать лет назад; черты ее вновь обрели властность, которую придают высокомерие, деньги, молодость, сознание, что ты венчаешь иерархическую пирамиду, недостаток воображения, ограниченность, глупость. Я думал примерно так: ни одно из выражений этого лица, так меня волновавшего, не может запасть в память глубже, чем это; а потому пусть оно станет для меня последним, раз оно было и первым. Я оставил ее застывшей в цветах, продолжавшей с помощью смерти совершенствовать мину полного презрения. Было часа два ночи, когда я вышел на улицу. Ряды низеньких, одноэтажных домиков, которые я и ожидал увидеть, приняли тот отвлеченный вид, какой бывает у них ночью, когда темнота и безмолвие делают их еще проще, чем они есть. Я побрел, опьяненный почти безличной жалостью. На углу улиц

Чили и Такуари я увидел еще открытый алма-сен. В этом алмасене, на мою беду, трое муж-чин играли в карты.

В фигуре, носящей название оксюморон, слово снабжено эпитетом, который как бы противоречит смыслу этого слова; так, гности-ки говорили о темном свете, алхимики — о чер-ном солнце. Равным образом и для меня вы-пить водки в жалком алмасене после того, как я видел Теодолину Вильяр в последний раз, было своего рода оксюмороном; главное иску-шение состояло в том, что это было грубо и доступно. (Контраст усугублялся тем, что ря-дом играли в карты.) Я спросил апельсиновой водки; на сдачу мне дали Заир; я поглядел на монету и вышел на улицу, кажется, у меня на-чинался жар. Я подумал, что нет монеты, ко-торая не была бы символом всех тех бесчислен-ных монет, что сверкают в истории и в сказках. Я вспомнил монету, которой расплачиваются с Хароном; обол, который просил Велисарий; тридцать сребреников Иуды; драхмы курти-занки Лаис; старинные монеты, предложен-ные спящим из Эфеса, светлые заколдованные монетки из «Тысячи и одной ночи», которые потом стали бумажными кружочками; неиз-

бывный динарий Исаака Лакедема; шестьдесят тысяч монет — по одной за каждый стих эпопеи, — которые Фирдоуси вернул царю, потому что они были серебряными, а не золотыми; золотую унцию, которую Ахав велел прибить на мачте; невозвратимый флорин Леопольда Блума; луидор, который близ Варенна выдал беглеца Людовика XVI, поскольку именно он был отчеканен на этом луидоре. Как бывает во сне, мысль о том, что любая монета дает основание для столь замечательных наблюдений, показалась мне необыкновенно, хотя и необъяснимо важной. Я еще быстрее зашагал по пустынным улицам и площадям. И, выбившись из сил, остановился на углу. Я увидел многострадальную железную решетку; за ней — черно-белый плитчатый пол портика монастыря Непорочного Зачатия. И понял, что очертил полный круг и снова оказался в десяти шагах от альмасена, где мне дали Заир.

Я свернул за угол и издали по темноте, окутывавшей дом, догадался, что лавка заперта. На улице Бельграно я взял такси. Спать совсем не хотелось; одержимо, чувствуя себя почти счастливым, я думал о том, что нет на свете

вещи менее материальной, нежели деньги, ибо любая монета (скажем, монета в двадцать сентаво) на деле представляет собой целый набор всевозможных вариантов будущего. Деньги абстрактны, твердил я, деньги — это то, что будет. Они могут стать загородной поездкой, а могут — музыкой Брамса, могут обратиться картой, а могут — шахматами, или чашкой кофе, или поучением Эпиктета о презрении к золоту; это Протей еще более переменчивый, чем Протей с острова Фарос. Это время, которое невозможно предвидеть, время Бергсона, а не жесткое время ислама или стоиков. Детерминисты отрицают, что в мире могут существовать отдельные друг от друга события, *id est** что события могут свершаться сами по себе, монета же символизирует для нас свободу воли. (Я и не подозревал, что эти «мысли» специально плелись против Заира и были первым проявлением его демонического влияния.) Устав от напряженного мудрствования, я заснул, и мне приснилось, что я превратился в монеты, которые охраняет гриф.

На следующий день я решил, что был пьян. И все-таки задумал избавиться от монеты, так

* То есть (*лат.*).

меня беспокоившей. Я стал ее разглядывать: ничего особенного, разве что царапины, нанесенные ножом. Лучше всего было бы зарыть ее в саду или спрятать где-нибудь в библиотеке, но мне хотелось сойти с ее орбиты. И я надумал потерять ее. В то утро я не пошел в церковь Святой Пилар и не был на кладбище, а поехал на метро к площади Конституции, оттуда — на Сан-Хуан и Боэдо. Сошел, не размышляя, на станции Уркиса, пошел на запад, потом на юг; не выбирая дороги, несколько раз сворачивал и наконец на улице, которая показалась такой же, как все остальные, вошел в первую попавшуюся лавку, попросил рюмку водки и расплатился Заиром. Щуря глаза за темными очками, я старался не видеть номера домов и названия улиц. Перед сном я принял таблетку веронала и ночь проспал спокойно.

До конца июня я развлекался сочинением фантастического рассказа. В рассказе есть загадочные подмены: вместо слова «кровь» говорится «вода меча»; вместо слова «золото» — «ложе змеи», и повествование ведется от первого лица. Рассказчик — аскет, который отрекся от общения с людьми и живет один в пустыне. (Гнитхейдр — называется это место.)

За чистоту и непритязательность жизни, которую он ведет, некоторые считают его ангелом; однако это — свойственное верующим преувеличение, ибо не бывает людей безвинных. Так и он, чтобы не ходить далеко за примером, зарезал собственного отца, правда, тот был знаменитым ведьмаком, который с помощью колдовства завладел несметными сокровищами. Уберечь сокровища от нездоровой человеческой алчности — этой цели пустынный посвятил жизнь; денно и нощно он бдительно охраняет их. Но скоро, быть может, слишком скоро, беднику его придет конец: звезды ему поведали, что уже выкован меч, который его сразит. (Грам — имя того меча.) С каждым разом все более выпренно превозносит он гибкость и блеск своего тела; то упоенно говорит о чешуе, то сообщает, что сокровища, которые он охраняет, — сверкающее золото и красные кольца. В конце мы понимаем, что аскет — на самом деле змей Фафнир, а сокровища, на которых он лежит, — сокровища Нибелунгов. Появление Сигурда обрывает повествование.

Я уже говорил, что, занявшись этой чепухой (в которую я, щеголяя псевдоэрудицией, вплеп стих из «Фафнисмаля»), я забыл о моне-

те. Случалось, ночами у меня возникала вдруг уверенность, что я могу забыть о ней, и я заставлял себя ее вспоминать. Надо признаться, я злоупотребил этим; начать оказалось гораздо проще, чем с этим покончить. Тщетно твердил я себе, что ненавистный никелевый кружок ничем не отличается от остальных, переходящих из рук в руки, что их не счесть и все они совершенно одинаковы и безобидны. Имея в виду этот довод, я попытался думать о другой монете, но не смог. Помню, провалилась и попытка с пятью и десятью чилийскими сентаво, равно как и с уругвайской монетой. Шестнадцатого июля я приобрел фунт стерлингов и целый день не смотрел на него, а ночью (и во все последующие ночи) разглядывал его под увеличительным стеклом при свете сильной электрической лампы. Потом карандашом перерисовал его на бумагу. Однако ни его блеск, ни дракон, ни святой Георгий не помогли: сменить объект Навязчивой идеи мне не удалось.

В августе я решил посоветоваться с психиатром. Я не поверил ему подробностей своей нелепой истории; сказал, что меня мучит бессонница и неотвязно преследует образ какого-то предмета, ну, скажем, жетона или монеты...

А немного позже я раскопал в книжном магазине на улице Сармьенто экземпляр «Urkunden zur Geschichte der Zahirsage»* (Бреслау, 1899) Юлиуса Барлаха.

В книге описывался мой недуг. В предисловии говорилось, что автор задался целью «собрать в едином томе удобного формата ин-октаво все документы, имеющие отношение к суевериям, связанным с Заиром, в том числе четыре свидетельства из архива Хабихта и оригинальную рукопись сообщения Филиппа Медоуза Тейлора». Верование в могущество Заира — исламского происхождения и датируется, судя по всему, восемнадцатым веком. (Барлах опровергает положения, которые Зотенберг приписывает Абульфиде.) «Захир» по-арабски значит «заметный», «видимый» и в этом значении является одним из девяноста девяти имен Бога; простой народ в мусульманских землях относит Заира к числу «существ или вещей, наделенных ужасным свойством не забываться, изображение которых в конце концов сводит человека с ума». Первое неоспоримое свидетельство принадлежит персу

* «Свидетельства к истории сказаний о Заире» (нем.).

Лутф Али Азуру. В подробной и обширной биографической энциклопедии, озаглавленной «Храм Огня», этот полиграф и дервиш рассказывает, что в одном из учебных заведений Шираза была медная аastroлябия, «сделанная таким образом, что стоило кому-нибудь увидеть ее хоть раз, и он больше не мог думать ни о чем другом, и потому царь повелел забросить ее в глубины морские, дабы люди не забывали о вселенной». Более пространно сообщение Медоуза Тейлора, который служил у Низама Хайдарабадского и написал знаменитый роман «Confessions of a Thug»*. Году в 1832-м Тейлор услышал в предместьях Бхуджа странное выражение «Он посмотрел на Тигра» («Verily he has looked on the Tiger»), которое означало безумие или святость человека. Ему рассказали, что имеется в виду магический тигр, увидеть которого было равносильно гибели, даже если его видели издалека, ибо каждый потом до конца дней думал только о нем. Кто-то рассказал, что один из этих несчастных бежал в Мисор и там на стене дворца нарисовал тигра. Спустя годы Тейлор побывал в тюрьмах этого царства; в тюрьме Нитура гу-

* «Исповедь душиителя» (англ.).

бернатор показал ему камеру, на полу, на стенах и сводах которой мусульманский факир изобразил (кричащими красками, которые время, прежде чем стереть, облагородило) нечто вроде бесконечного тигра. Этот тигр состоял из множества причудливым образом переплетавшихся тигров, и тело из тигров, и полосы из тигров, и даже моря, Гималаи и войска, проглядывавшие там, тоже были как будто из тигров. Художник умер много лет назад в этой самой камере; он был родом из Синда или из Гуджарата, и первоначальной его целью было нарисовать карту мира. Следы этого намерения остались в чудовищном изображении. Тейлор рассказал эту историю Махаммуду Аль-Йемени из Форт-Вильяма; тот в ответ заметил, что не было на земле создания, которое бы не склонилось перед Zaheeg*, но что Всемилостивый не позволяет, чтобы Заиром в одно и то же время были две различные вещи, ибо только одна может целиком завладеть людской толпой. Он сказал, что всегда есть только один Заир и что в Пору Невежества им был идол по имени Йаук, а потом — пророк из Хорасана, который носил покров,

* Так Тейлор пишет это слово.

расшитый камнями, и золотую маску*. И еще он сказал, что Бог непостижим.

Я читал и перечитывал книгу Барлаха. Не стану описывать свои переживания; помню только, что мною овладело отчаяние, когда я понял, что спасения мне не будет, и огромное облегчение от мысли, что я неповинен в собственной беде, и зависть, которую я испытывал к людям, для кого Заир был не монетой, а кусочком мрамора или тигром. До чего легко было бы не думать о тигре, казалось мне. И еще помню, с каким беспокойством прочел я строки: «Один из комментаторов книги «Гулшани-раз» говорит, что тот, кто видел Заир, в скором времени увидит и Розу, и приводит в доказательство стих из «Асрар-Нама» («Книги о вещах неведомых») Аттара: “Заир — это тень Розы и царапина от Воздушного покрыва”».

В ту ночь, когда тело Теодолины лежало в гробу, меня удивило, что я не увидел среди присутствовавших сеньоры Абаскаль, ее млад-

* Барлах замечает, что Йаук упоминается в Коране (LXXI, 23), что пророк тот Аль-Моканна («Под Покрывалом»), однако никто, кроме удивительного собеседника Филиппа Медоуза Тейлора, не связывал их с Заиром.

шей сестры. А в октябре одна ее подруга сказала мне:

— Бедняжка Хулита такая стала странная, ее поместили в лечебницу Босха. Видно, сестрам приходится с ней нелегко, еще бы — кормят с ложечки. Из рук не выпускает монетки — точь-в-точь как шофер Морены Сакман.

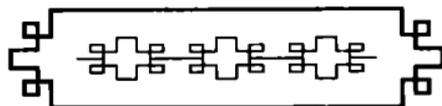
Время, приглушающее воспоминания, мысли о Заире, напротив, обостряет. Раньше я представлял себе сначала его аверс, а потом реверс; теперь же я мысленно могу увидеть сразу обе стороны монеты. И не так, как если бы Заир был стеклянным, скорее это похоже на то, что зрение у меня сферическое и Заир находится в самом центре этой сферы. Все, что не Заир, с трудом, как сквозь сито, доходит до меня и кажется далеким: и полный презрения облик Теодолины, и физическая боль. Теннисон сказал, что, если бы нам удалось понять хотя бы один цветок, мы бы узнали, кто мы и что собой представляет весь мир. Быть может, он хотел сказать, что нет события, каким бы ничтожным оно ни выглядело, которое бы не заключало в себе истории всего мира со всей ее бесконечной цепью причин и следствий. Быть может, он хо-

тел сказать, что весь видимый мир предстает перед нами в любом его проявлении, таким же образом, каким воля, по мнению Шопенгауэра, предстает полностью в каждом субъекте. Каббалисты понимали, что каждый человек — это микрокосмос, символическое зеркало вселенной; и, по мнению Теннисона, все является таковым. Все, даже этот невыносимый Заир.

К 1948 году участь Хулии, наверное, постигнет и меня. Меня станут кормить с ложечки и одевать, и я не буду знать, вечер на дворе или утро и кто такой Борхес. Назвать это будущее ужасным было бы неправильно, поскольку ничто в мире не будет меня трогать. Равно как нельзя сказать, будто человек, которому под наркозом вскрывают череп, испытывает ужасную боль. Мир перестанет существовать для меня, для меня будет существовать один Заир. Согласно учению идеалистов, слова «жить» и «видеть сон» — точные синонимы; от тысяч кажимостей я перейду к одной; из сна необычайно сложного — в до крайности простой сон. Другим привидится, что я безумен, а мне будет видеться один Заир. Когда же все люди на земле день и ночь будут думать только о Заире, что

будет сном и что — действительностью, земля или Заир?

В безлюдные ночные часы я еще могу ходить по улицам. Заря застаёт меня на площади Гарая, я сижу на скамейке, размышляя (пытаюсь размышлять) над тем местом из «Асрар-Нама», где говорится, что Заир — тень Розы и царапина от Воздушного покрывала. Я связываю это суждение с такими сведениями: «Чтобы затеряться в Боге, приверженцы суфизма повторяют собственное имя или девятносто девять имен Бога до тех пор, пока те перестают что-то значить», — и мечтаю пойти по этому пути. Может быть, кончится тем, что я растрочу Заир, так много и с такой силой о нем думая; а может быть, там, за монетой, и находится Бог.



Послание Бога

Эме Риссо Платеро

Каменная тюрьма уходит глубоко под землю, внутри она имеет форму почти правильной полусферы, пол (тоже каменный) немного уже, чем стены в самом широком месте, и это каким-то образом создает ощущение тесноты и одновременно простора. Посредине тюрьма перегорожена стеной, стена высокая, но все-таки не достает до верхней части свода; по одну ее сторону нахожусь я, Цинакан, жрец пирамиды Кахолома, которую сжег Педро де Альварато, а по другую сторону — ягуар, который ровными крадущимися шагами мерит пространство и время своей камеры. На уровне пола эту стену разрезает длинное зарешеченное окно. В час, когда не бывает теней (в пол-

день), вверху открывается глазок и тюремщик со стертым временем лицом крутит ручку железного ворота, спуская на веревке кувшины с водой и куски мяса. В темницу проникает свет, и я могу видеть ягуара.

Я уже потерял счет времени и не знаю, сколько лет провел во мраке этого каменного мешка; давно, когда я еще был молодым, я мог ходить по камере, теперь же мне остается только лежать в позе мертвеца, дожидаясь смерти, которую мне уготовят боги. Бывало, я одним взмахом кремневого ножа вспарывал грудь храмовым жертвам, а теперь, не прибегая к магии, не могу даже привстать с пыльного пола.

Перед тем как сжечь пирамиду, люди, сошедшие на землю с высоких лошадей, пытали меня раскаленным железом, чтобы узнать, где спрятаны сокровища. У меня на глазах сбросили на землю статую Бога, но Бог не оставил меня, помог не заговорить под пыткой; меня резали, ломали, меня всего изувечили, я очнулся только в этой тюрьме, из которой уже не выйду до конца моей земной жизни.

Я понял, что, если хочу сохранить здесь жизнь, мне надо заняться чем-нибудь, надо заполнить время, и я решил вспоминать все,

что знал. Ночи напролет я воскрешал в памяти количество и порядок расположения каменных змеев, вид лекарственных растений. Я не поддавался времени и вскоре вернул себе все, что раньше мне принадлежало. Однажды ночью я почувствовал, что во мне созревает очень важное воспоминание, — так путник, еще не видя моря, уже ощущает его волнение в своей крови. Спустя несколько часов воспоминание стало проясняться: оно оказалось одним из преданий о Боге. Зная, что конец времен будет отмечен бедствиями и разрухой, Бог в первый же день Творения написал магическое речение, способное предотвратить эти несчастья. Написал таким образом, чтобы его не повредила никакая случайность и оно дошло до самых отдаленных поколений. Никто не знает, на чем и какими знаками оно написано, но нам известно, что оно существует и что лишь некто избранный сможет прочесть его. И я рассудил, что мы, как всегда, уже находимся в конце времен и что, возможно, именно моя судьба последнего слугителя Бога дарует мне привилегию прочесть послание. То, что я заточен в тюрьме, не могло быть препятствием, ведь не исключено, что мне уже тысячи раз доводилось

видеть речение Кахолома, но я просто не мог понять этого.

Эти мысли все больше воодушевляли меня, доводили до головокружения. На земле повсюду есть древние образования, среди них и нерушимые, вечные; любое из них может оказаться знаком, который я ищу. Словом Бога могла бы стать гора. Или река, или империя, или созвездие. Однако горы с веками сглаживаются, реки меняют свой путь, империи испытывают потрясения и распадаются, даже расположение звезд не остается неизменным. В самой небесной тверди заложена переменчивость. Гора и звезда суть индивиды, а индивиды дряхлеют. И я стал искать что-нибудь более стойкое, неуязвимое. Я размышлял о смене поколений злаков, трав, птиц, людей. Ведь и на моем собственном лице могло храниться магическое речение, я сам мог оказаться целью моих поисков. Дойдя в лихорадочных мыслях до этого пункта, я вспомнил, что одним из атрибутов Бога является ягуар.

Меня охватил восторг. Я представлял себе, как в первое же утро времен Бог доверяет свое послание яркой шкуре ягуаров, которые будут потом искать друг друга, без конца размно-

жаться — в пещерах, зарослях тростника, на островах, — чтобы это послание дошло до последних людей. Я вообразил эту бесконечную сеть ягуаров, этот тигриный лабиринт, который наводит страх на поля и стада, чтобы сохранить нанесенный на них рисунок. В камере за стеной находился ягуар; я истолковал это соседство как подтверждение моей догадки и некий тайный и благоприятный для меня знак.

Я посвятил долгие годы изучению пятен ягуара — их форме, расположению. Каждый слепой день одаривал меня мгновениями света, и тогда я мог запечатлеть в памяти черные знаки, выведенные на желтой шкуре. Некоторые складывались из точек, другие образовывали поперечные полосы на внутренней стороне лап, третьи — кольцеобразные — все время повторялись. Наверное, это был повторяющийся звук или повторяющееся слово. Многие знаки окаймляла красная полоса.

Не буду говорить, до какого изнеможения доводила меня эта работа. Не раз, обратив лицо к сводам тюрьмы, я кричал, что разобрать послание невозможно. Но постепенно эта конкретная загадка стала беспокоить меня меньше, чем главный вопрос о самом содержании

речения. Какое сообщение, спрашивал я себя, могло быть создано абсолютным разумом? Ведь даже в человеческих языках невозможно выразить ни одного понятия, которое не повлекло бы за собой имплицитно всю вселенную; ведь сказать *тигр* значит в то же время выразить идею и обо всех тиграх, его породивших, об оленях и черепашках, которых он пожирал, о траве, которой питались олени, о земле — матери этой травы, о небе, давшем земле свет. Я полагал, что в языке Бога любое слово также должно влечь за собой бесконечное множество образов предметов, но только уже не имплицитно, а явно, и не последовательно — одного за другим, — а всех разом. Со временем мысль о божественном высказывании стала казаться мне ребяческой и кощунственной. Богу, размышлял я, достаточно сказать только одно слово, но это слово должно вместить в себя всю полноту сущего. Любое слово, произнесенное Им, не может быть меньше вселенной, меньше совокупности всех времен. Громкие и пустые человеческие слова, такие как «всё», «мир», «вселенная», лишь бледная тень и убогое подражание слову Бога, равного целому языку и всему, что может охватить целый язык.

Однажды ночью, а может быть, днем — велика ли разница между моими днями и ночами? — мне померещилось, что на полу камеры появилась песчинка. Не придав этому значения, я снова заснул. Мне приснилось, что я просыпаюсь и что на полу уже две песчинки. Я опять заснул, и мне приснилось, что на полу три песчинки. Так повторялось, пока песчинки не заполнили всю тюрьму, — и вот я уже умирал под огромной кучей песка. Я понял, что все еще сплю, сделал огромное усилие — и проснулся. Но пробуждение не спасло меня: я по-прежнему задыхался под тяжестью песка. Кто-то сказал: «Ты не проснулся до бодрствования, ты пробудился в предыдущий сон, а предыдущий сон сам был внутри другого, и так до бесконечности, равной числу песчинок. Путь, которым ты хочешь выбраться из снов, не имеет конца, ты умрешь раньше, чем успеешь проснуться по-настоящему».

Я почувствовал, что мне приходит конец. Песок набивался в рот, но я все-таки сумел крикнуть: «Песок из сна не может убить меня, и нет снов, которые снятся в других снах». Меня разбудил яркий свет. Под темным сводом вспыхнул яркий круг. Я увидел лицо и

руки тюремщика, ворот, веревку, мясо и кувшины.

Человек постепенно принимает облик своей судьбы, в конце концов отождествляется с обстоятельствами своей жизни. И я был не столько отгадчиком или мстителем и не столько служителем Бога, сколько узником. Из бесконечного лабиринта сновидений я вернулся в тюрьму, как в свой дом. И благословил ее сырость, благословил круг света вверху, благословил свое дряхлое больное тело, благословил мрак и камни.

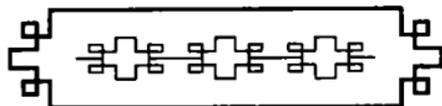
Тогда и случилось то, что я не смогу забыть и не сумею рассказать. Произошло слияние с божеством, с вселенной (не уверен, что это не одно и то же). Символы экстаза не повторяются; один видел Бога в сиянии света, другой — в мече, а третий — в кругах розетки. Мне же открылось некое высочайшее Колесо, я увидел его, но оно было не перед глазами, не сзади, не сбоку, оно одновременно было повсюду. Оно было огненным и в то же время водяным, бесконечным — но в то же время я видел его обод. Его наполняло, сплетаясь, все, что было, есть и будет, я сам был одной из нитей этой всеобщей ткани, и пытавший меня Педро де Альва-

радо тоже был ее нитью. В этом Колесе сплелись все причины и следствия, и мне достаточно было увидеть его один раз, чтобы постичь все, всю беспредельность. О счастье познания! Насколько оно выше радости воображения и чувства! Я увидел вселенную, мне открылись все тайны ее внутреннего устройства. Я увидел начало всего, о котором рассказывает Книга Совета. Видел, как из вод поднимаются горы, видел первых, еще сотворенных из дерева людей, видел, как на них ополчились большие каменные кувшины, как собаки разрывают им лица. Видел безликого Бога, того, что позади богов. Видел бесчисленные действия, сливающиеся в единое блаженство, — и, познав все, я понял также и письмена на шкуре ягуара.

Это было изречение, составленное из четырнадцати случайных (мне показалось, что они не связаны между собой) слов, и достаточно было громко произнести его, чтобы исчезла эта каменная тюрьма и свет вошел в мою ночь, а я стал бы молодым, стал бессмертным, ягуар растерзал бы Альварадо, священный кинжал вонзился в грудь испанцев, возродилась сожженная пирамида и воскресла империя. Сорок слогов, четырнадцать слов — и я, Цинакан,

стану властелином земель, которыми владел Моктесума. Но я знаю, что никогда не произнесу эти слова, потому что если сделаю это, то навсегда забуду о Цинакане.

Пусть же умрет со мной тайна начертанного на шкурах ягуаров послания. Кто увидел вселенную, увидел пылающий чертеж ее устройства, тот не станет больше думать о человеке, о его ничтожных радостях и печалях, даже если этот человек он сам. Точнее, *был им*, но теперь это уже не имеет никакого значения. Не имеет значения судьба этого человека, к какому народу он принадлежит, ведь он теперь никто. Вот почему я не произнесу речения Бога, вот почему я уже не думаю о времени, лежа во мраке.



Абенхакан эль Бохари, погибший в своем лабиринте

...могут быть уподобле-
ны пауку, строящему дом.

Коран, XXIX, 40

— Вот здесь, — сказал Данревен и широким жестом, не отвергающим и звезд в облаках, обвел черную безлюдную равнину, море и величественное потрескавшееся здание, напоминающее пришедшую в упадок конюшню, — земля моих предков.

Анвин, его приятель, вытащил изо рта трубку и издал несколько сдержанных одобрительных звуков. Был вечер в начале лета 1914 года; пресытившись миром без опасности, друзья наслаждались уединением в этом уголке Корнуолла. Данревен пестовал темную бородку и был известен как автор величественной

эпопеи, в которой его современники почти не могли уловить размера, тема ее не поддавалась пересказу; Анвин опубликовал исследование теоремы, доказательства которой Ферма не записал на полях работы Диофанта. Оба — нужно ли говорить? — были молоды, безрассудны и азартны.

— Прошло почти четверть века, — сказал Данревен, — как Абенхакан эль Бохари, вождь или царь одного из племен нилотов, погиб в центральной комнате этого дома от руки своего племянника Сайда. За все эти годы обстоятельства его смерти не прояснились.

Анвин, как и ожидалось, спросил, почему.

— По разным причинам, — последовал ответ. — Во-первых, этот дом — лабиринт. Во-вторых, его охраняли раб и лев. В-третьих, было похищено спрятанное сокровище. В-четвертых, убийца был мертв в момент убийства. В-пятых...

Анвин равнодушно прервал его.

— Не нагромождай загадок, — сказал он. — Эти должны оказаться простыми. Вспомни украденное письмо По, вспомни запертую комнату Зангвилла.

— Или сложными, — ответил Данревен. — Вспомни вселенную.

Поднявшись на песчаный холм, они достигли лабиринта. Вблизи он казался прямой и почти бесконечной стеной из некрашеного кирпича, чуть выше человеческого роста. Дан-ревен сказал, что дом круглый, но площадь его была так велика, что кривизны не ощущалось. Анвин вспомнил Николая Кузанского, для которого всякая прямая была дугой бесконечно большой окружности. Около полуночи они обнаружили обветшалую дверь, которая вела в глухую и полную опасностей прихожую. Дан-ревен сказал, что внутри дома множество пересечений, но, все время поворачивая налево, они примерно через час дойдут до центра. Анвин выразил согласие. Звучали осторожные шаги по каменному полу; галерея разделилась на две более узкие. Казалось, дом хочет поглотить их, так низко навис потолок. Им приходилось двигаться один за другим. Анвин шел впереди. Зацепляясь за углы и неровности, он все время касался рукой невидимой стены. Медленно продвигаясь в темноте, Анвин слышал из уст своего друга историю смерти Абенхакана.

— Быть может, самое раннее мое воспоминание, — говорил Данревен, — это появление

Абенхакана у ворот Пентрита. Его сопровождал человек со львом; без сомнения, это был первый негр и первый лев, которых я видел, если не считать гравюр в Писании. И хотя я был ребенком, зверь цвета солнца и человек цвета ночи поразили меня меньше, чем Абенхакан. Он показался мне очень высоким; это был человек с оливковой кожей, полужакрытыми черными глазами, наглым носом, мясистыми губами, крашенной шафраном бородой, мощной грудью, с уверенной и бесшумной походкой. Дома я сказал: «Царь приплыл на корабле». Позже, когда каменщики возводили дом, я усложнил этот титул и называл его Царем Вавилонским.

Известие, что чужеземец собирается поселиться в Пентрите, было принято благосклонно. Размеры и форма его дома — с замешательством и чуть ли не со скандалом. Казалось немислимым, чтобы дом состоял из одной-единственной комнаты и коридоров, тянувшихся мили и мили. «Такие дома бывают у магометан, но не у христиан», — говорил народ. Наш ректор, мистер Олби, человек незаурядно начитанный, извлек на свет историю царя, который был наказан провидением за

то, что воздвиг лабиринт, и поведал ее с кафедры. В понедельник Абенхакан посетил жилище ректора, обстоятельства этого краткого визита в то время не были обнародованы, но ни одна последующая проповедь более не касалась гордыни, а мавр смог нанять каменщиков. Несколько лет спустя, когда Абенхакан погиб, Олби сообщил властям суть разговора.

Абенхакан, не садясь, сказал ему примерно следующее: «Никто не смеет осуждать то, что я делаю. Грехи, тяготящие меня, таковы, что, если я столетиями повторял бы высочайшее имя Бога, это не смягчило бы моих мук. Грехи, тяготящие меня, таковы, что, если я своими руками убил бы себя, это не усилило бы мук, уготованных мне бесконечной Справедливостью. Мое имя известно повсюду: я Абенхакан эль Бохари, и я властвовал над племенами пустыни. Многие годы я обирал их с помощью моего племянника Саида, но Бог услышал их молитвы и допустил, чтобы они восстали. Мои люди были перебиты, мне же удалось бежать с сокровищами, накопленными за эти годы. Саид вывел меня к гробнице святого, у подножия скалы. Я приказал своему рабу следить за ликом пустыни; Саид и я в изнеможении заснули.

Ночью мне приснилось, будто меня опутали сетью из змей. В ужасе я проснулся, рядом спал Саид, светало; прикосновение паутины к моему телу было причиною страшного сна. Сокровище не бесконечно, подумал я, а он может потребовать свою часть. За поясом у меня был кинжал с серебряной рукоятью, я вытащил его и вонзил Саиду в горло. В агонии он пробормотал несколько слов, которые я не сумел разобрать. Я посмотрел на него; он был мертв, но, боясь, что он поднимется, я приказал рабу разбить ему камнем голову. Потом мы скитались по пустыне и наконец различили вдалеке море. Его бороздили огромные корабли; и я подумал, что мертвому не пройти по воде, и решил искать другие земли. В первую же ночь нашего плавания мне приснилось, что я убиваю Саида. Все повторилось снова, только мне удалось разобрать его слова. Он сказал: «Как сейчас ты убиваешь меня, так я убью тебя, где бы ты ни был». Я поклялся, что угроза его не сбудется; я скроюсь в глубине лабиринта, чтобы призрак не нашел дороги».

Сказав это, он ушел. Олби решил было, что мавр лишился рассудка и что нелепый лабиринт — символ и явное свидетельство его бе-

зумия. Затем ему пришло в голову, что такое объяснение соответствует необычному зданию и необычному рассказу, но противоречит впечатлению силы, которое оставлял Абенхакан. Возможно, подобные истории характерны для египетских земель, возможно, подобные странности присущи (как Плиниевы драконы) не столько личности, сколько культуре... В Лондоне Олби просмотрел подшивку «Таймс» и удостоверился в истинности рассказа о восстании и последующем исчезновении эль Бохари и визиря, имевшего славу труса.

Абенхакан, едва каменщики окончили работу, обосновался в центре лабиринта. Больше его в селении не видели; порою Олби пугала мысль, что Саид уже добрался до него и убил. По ночам ветер доносил до нас рычание льва, и овцы в загоне дрожали от древнего страха.

В маленькой бухте бросали якорь корабли, идущие из восточных портов в Кардифф или Бристоль. Раб спускался из лабиринта (который тогда, помнится, был алого, а не розового цвета) и переговаривался на африканском наречии с командами кораблей и, казалось, искал среди живых призраков визиря. Ходили слухи, что эти корабли привозят контрабандой

алкоголь и слоновую кость, так почему бы не возить им также и тени умерших?

Спустя три года со времени сооружения дома стала на якорь у подножия холмов «Роза Сарона». Я не был в числе тех, кто видел парусник, и, возможно, образ его навеян полузабытыми литографиями сражений при Абукире или Трафальгаре, но сдается мне, это был один из тех кораблей, которые кажутся скорее делом рук столяра, чем корабеля, и даже скорее краснотеревщика, чем столяра. Он был (если не в действительности, то в моем воображении) полированный, темный, бесшумный и быстрый, команда состояла из арабов и малайцев.

Корабль бросил якорь на рассвете в один из октябрьских дней. Вечерело, когда в дом Олби ворвался Абенхакан. Охваченный ужасом, он едва сумел выговорить, что Саид уже проник в лабиринт и что раб и лев погибли. Он всерьез спросил, сумеют ли власти защитить его. Но прежде чем Олби ответил, ушел, гонимый тем же страхом, что привел его в этот дом — во второй и последний раз. Олби, один в своей библиотеке, в изумлении подумал, что этот испуганный человек жестоко притеснял в Судане подвластные ему племена и знает, что

такое битва и что значит убивать. На следующий день он заметил, что один из парусников отплыл (курсом на Суакин в Красном море, как он выяснил после). Олби счел своим долгом удостовериться в смерти раба и направился к лабиринту. Прерывающийся рассказ Бохари показался ему фантастическим, но за одним из поворотов галереи он наткнулся на льва, и лев был мертв, а за другим — на раба, который был мертв, а в центральном помещении — на эль Бохари, голова которого была разбита. У ног его валялась шкатулка, инкрустированная перламутром, кто-то сломал замок и не оставил ни монеты.

Заключительные фразы, украшенные риторическими паузами, явно претендовали на красноречие. Анвин догадался, что Данревен уже не в первый раз произносил их с тем же пафосом и так же не достигал успеха. Он спросил, притворяясь заинтересованным:

— Как были убиты лев и раб?

Не меняя манеры, Данревен ответил с мрачным удовлетворением:

— У них тоже были разбиты головы.

К звуку шагов примешался шум дождя. Анвин подумал, что им придется ночевать в

лабиринте, в «центральной комнате» повествования Данревена, но в воспоминаниях это длительное неудобство превратится в приключение. Он не произнес ни слова; Данревен не удержался и задал вопрос, словно требовал вернуть долг:

— Разве эта история объяснима?

Как бы размышляя вслух, Анвин ответил:

— Не знаю, объяснима она или нет. Знаю, что это ложь.

Данревен, чертыхнувшись, сослался на старшего сына ректора (Олби, кажется, уже умер) и всех жителей Пентрита. Не менее пораженный, чем Данревен, Анвин извинился. Время в темноте тянулось необычайно долго; оба уже опасались, что сбились с пути, и были совершенно без сил, когда слабый свет, идущий сверху, позволил им различить нижние ступеньки узенькой лестницы. Они поднялись и оказались в обветшалой круглой комнате. Как память о страхе злополучного царя сохранились две вещи: широкое окно, вознесшееся над морем и окрестной равниной, и западня в полу, которая виднелась за поворотом лестницы. Помещение, хотя и просторное, весьма напоминало тюремную камеру.

Не столько из-за дождя, сколько для того, чтобы было о чем вспомнить и рассказать, друзья провели ночь в лабиринте. Математик спал спокойно; поэта же преследовали строчки, которые ему самому казались отвратительными:

Faceless the sultry and overpowering lion,
Faceless the stricken slave, faceless the king*.

Анвин полагал, что история смерти эль Бохари не заинтересовала его, но проснулся с ощущением, что разгадал загадку. Весь день он был сосредоточен и неразговорчив, на разные лады примеряя одно событие к другому, а два дня спустя сговорился встретиться с Данревенном в одной из лондонских пивных и сказал ему примерно следующее:

— В Корнуолле я сказал, что услышанная от тебя история — ложь. События были или могли быть подлинными, но изложенные так, как излагал их ты, становились явной ложью. Начну с самой большой лжи, с немыслимого лабиринта. Беглец не прячется в лабиринте. Не сооружает лабиринт на высоком берегу, алый

* С разбитой головой лежит могучий лев,
С разбитой головой лежит и раб, и царь (англ.).

лабиринт, издали заметный морякам. Его не стоит воздвигать, потому что вселенная — лабиринт уже существующий.

Для того, кто в самом деле хочет укрыться, Лондон более надежен, чем эта вышка, к которой ведут все галереи здания. Глубокая мысль, которую я сейчас изложил тебе, посетила меня позавчера, когда мы слушали, как шумит дождь по крыше лабиринта, и дожидались, пока заснем; осененный и вдохновленный ею, я решил забыть твои нелепости и подумать о чем-нибудь осмысленном.

— О теории множеств, например, или о четвертом измерении, — заметил Данревен.

— Нет, — серьезно ответил Анвин. — Я думал о критском лабиринте. Лабиринте, центром которого был человек с головой быка.

Данревен, знаток детективных романов, подумал, что разгадка тайны всегда ниже самой тайны. К тайне причастно сверхъестественное и даже божественное, разгадка же — фокус. Он сказал, чтобы протянуть неизбежное:

— С головой быка Минотавр изображается в скульптуре и на медалях. Данте представлял его себе с телом быка и головой человека.

— Этот вариант тоже подходит, — согласился Анвин. — Здесь важно соответствие чудовищного дома его чудовищному обитателю. Минотавр полностью оправдывал существование лабиринта. Нельзя сказать того же об опасности, привидевшейся во сне. Если вспомнить Минотавра (роковое воспоминание, когда находишься в лабиринте), задача, вероятно, будет решена. Однако сознаюсь, что этот античный образ не казался мне ключом к разгадке, поэтому было необходимо, чтоб в твоём рассказе появился символ более подходящий: паутина.

— Паутина? — переспросил сбитый с толку Данревен.

— Да. Больше всего меня поразило то, что паутина (паутина в её универсальной форме, скажем, платоновская паутина) внушила убийце (поскольку убийца существует) это преступление. Вспомни: эль Бохари в гробнице видит во сне сеть из змей и, проснувшись, обнаруживает, что причина сновидения — паутина. Вернемся к ночи, когда эль Бохари приснилась сеть. Свергнутый царь, визирь и раб, унося сокровища, спасаются бегством в пустыню. Они укрываются в гробнице. Спит визирь, о кото-

ром нам известно, что он трус; не спит царь, о котором мы знаем, что он отважен. Царь, не желая делить сокровища с визирем, убивает его ударом кинжала; тень последнего угрожает царю во сне несколько ночей спустя. Все это невероятно; я думаю, события разворачивались по-другому. В эту ночь спал царь, храбрец, и бодрствовал Саид, трус. Спать — значит расставаться с миром, а такое расставание трудно для того, кто знает, что его преследуют с обнаженными мечами. Завистника Саида ввел в искушение сон царя. Он думал об убийстве, может быть, даже играл кинжалом, но не осмелился. Он позвал раба, они укрыли часть сокровищ в гробнице и бежали в Суакин и в Англию. Вовсе не для того, чтобы скрыться от эль Бохари, а чтобы заманить и убить его, он построил над морем высокий лабиринт с красными стенами. Он знал, что корабли разнесут в гаванях Нубии слухи об алом человеке, рабе и льве и что рано или поздно эль Бохари придет разыскивать его в этом лабиринте. В последней галерее его ожидала западня. Эль Бохари бесконечно презирал Саида и не унизился до того, чтобы принять хоть какие-то меры предосторожности. Долгожданный день настал; Абен-

хакан сошел на берег в Англии, подошел к дверям лабиринта и, возможно, уже шагнул на первую ступеньку лестницы, когда его визирь убил его, возможно, и одним выстрелом, из засады. Лев был убит рабом, а другим выстрелом был убит раб. Потом Саид одним камнем разбил всем троим головы. Он вынужден был так поступить: один трус с разбитой головой наводит на мысль об идентификации; а зверь, негр и царь образуют ряд, имея начальные члены которого, любой найдет последний. Ничего удивительного, что им владел страх при разговоре с Олби: он только что совершил чудовищное деяние и намеревался бежать из Англии, чтобы завладеть сокровищами.

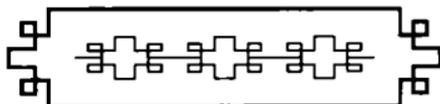
Задумчивое или недоверчивое молчание наступило вслед за словами Анвина. Данревен заказал еще кружку пива, прежде чем высказаться.

— Я согласен, — сказал он, — мой Абенхакан был Саидом. Подобные метаморфозы — классические особенности жанра, условия, соблюдения которых требует читатель. Но я отказываюсь согласиться с предположением, что часть сокровищ осталась в Судане. Вспомни, ведь Саид бежал от царя и от врагов царя;

легче представить себе, что он украл все сокровища, нежели что он задержался, зарывая часть их. Возможно, монеты не были найдены, потому что их не оставалось; каменщики поглотили состояние, которое в отличие от красного золота Нибелунгов не было бесконечным. Тогда получается, что Абенхакан пересек море, чтобы вернуть себе растроченные сокровища.

— Не растроченные, — сказал Анвин. — А затраченные в земле неверных на огромную круглую ловушку из кирпича, устроенную для того, чтобы поймать его и уничтожить. Саид, если мое предположение справедливо, действовал, побуждаемый ненавистью и страхом, а не алчностью. Он украл сокровища, а затем понял, что сокровища не были для него главным. Главным было погубить Абенхакана. Он притворился Абенхаканом, убил Абенхакана и в конце концов стал Абенхаканом.

— Да, — согласился Данревен. — Он стал бродягою, который, прежде чем умереть, когда-нибудь припомнит, что был царем или делал вид, что царь.

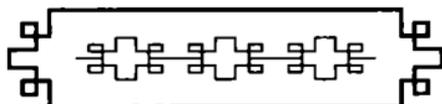


Два царя и два их лабиринта

Верные люди рассказывают (а остальное знает Аллах), что в давние времена Вавилонской землей правил царь, который собрал однажды своих зодчих и повелел им воздвигнуть такой головокружительный и хитроумный лабиринт, что здравомыслящие мужи не решились ступить в него, а вошедшие — исчезали навсегда. Творение это было кощунством, поскольку запутывать и ошеломлять подобает лишь Богу, но не людям. По прошествии лет ко двору прибыл повелитель арабов, и владыка Вавилона, желая пошутить над простодушным гостя, пригласил его осмотреть лабиринт, где тот и блуждал в замешательстве и унижении до самого заката. Тогда он взмолился Творцу о помощи и нашел выход. С губ его не слетело

ни слова упрека, он лишь поведал вавилонскому царю, что у него в Аравии есть лабиринт еще поразительней и он надеется, если поможет Бог, когда-нибудь познакомить с ним своего гостеприимного хозяина. Затем он вернулся в Аравию, кликнул полководцев и военачальников и напал на вавилонян столь удачно, что стер с лица земли их крепости, рассеял воинства и взял в плен самого царя. Его взвалили на быстროногого верблюда и отправили в пустыню. Всадники скакали три дня, и на закате царь Аравии воскликнул: «О властитель времен, судеб и сроков! В Вавилоне ты замыслил погубить меня в медном лабиринте с несчетными лестницами, стенами и дверьми; ныне Всемогущий велит, чтобы я показал тебе свой лабиринт, где нет нужды ни взбираться по лестницам, ни взламывать двери, ни мерить шагами утомительные галереи, ни одолевать стены, преграждающие путь».

С этими словами он развязал пленника и оставил его посреди пустыни, где тот и скончался от голода и жажды. Слава Тому, кто не знает смерти!



Ожидание

Коляска привезла его к 4004-му номеру на Северо-Восточной улице. Не было еще и девяти утра; человек с удовольствием увидел пятнистые платаны и квадраты земли у подножия каждого, скромные домики с маленькими балконами, аптеку по соседству, выцветшие вывески скобяной лавки и художественной мастерской. Длинный и глухой забор больницы перегораживал дорогу, вдали блестело солнце на стеклах оранжереи. Человек подумал, что это окружение (пока случайное и лишённое смысла, как увиденное во сне) станет со временем, Бог даст, привычным, непременно и нужным. В витрине аптеки виднелись фарфоровые буквы: Бреслауэр; евреи сменили итальянцев, перед этим вытеснивших креолов. Это было к лучшему, человек предпочитал не иметь дела с людьми своей крови.

Возница помог ему снять чемодан; женщина, не то усталая, не то расстроенная, наконец открыла дверь. Возница нагнулся с козел, возвращая монету, уругвайский медяк, завалявшийся у него в кармане с этой ночи, проведенной в гостинице Мело. Человек вручил ему сорок сентаво и при этом подумал: «Надо вести себя так, чтобы обо мне все забыли. Сейчас я ошибся дважды: расплатился монетой другой страны и дал заметить, что эта ошибка имеет для меня значение».

Следуя за женщиной, он прошел ворота и первый двор. Комната, приготовленная для него, к счастью, выходила во второй двор. Кровать была из железа, причудливо изогнутого мастером в виде ветвей и виноградных листьев; стоял высокий сосновый шкаф, полированный стол, этажерка с книгами, два разных стула и умывальник с тазом, кувшином, мыльницей и бутылью непрозрачного стекла. Карта провинции Буэнос-Айрес и распятие украшали стены, на алых обоях повторялось изображение павлина с распущенным хвостом. Единственная дверь вела во двор. Чтобы поместить чемодан, надо было передвинуть стулья. Новому жильцу все пришлось по вкусу; когда жен-

щина спросила его имя, он назвался Вильяри, не с тайным вызовом и не для того, чтобы преодолеть унижение, которого не ощущал, а потому, что это имя не давало ему покоя, потому, что выдумать другое он был не в силах. Его наверняка не соблазняло бытующее в литературе заблуждение, будто присвоить имя врага — большая хитрость.

Поначалу сеньор Вильяри не покидал дома, спустя несколько недель он стал ненадолго выходить в сумерках. Как-то вечером он пошел в синематограф, находившийся за три квартала. Он всегда садился в последнем ряду, всегда поднимался чуть раньше конца сеанса. Смотрел трагические истории из жизни преступного мира, в которых, без сомнения, были ошибки и, без сомнения, были картины из его прошлого; Вильяри не замечал этого, мысль о соответствии искусства действительности была чужда ему. Он покорно полагал, что ему нравится изображаемое, и хотел лишь проникнуть в намерение, с которым все это показывали. В отличие от людей, читающих романы, он никогда не смотрел на себя как на объект искусства.

Он не получал ни писем, ни даже проспектов, но со смутной надеждой прочитывал одну

из газетных рубрик. Вечером, придвинув стул к двери, он сосредоточенно потягивал мате, разглядывая выюнок на стене высокого соседнего дома. Годы одиночества научили его, что в воспоминаниях дни кажутся похожими, но нет ни одного, даже в тюрьме или в больнице, который бы не приносил неожиданностей. В другом заключении он мог бы поддаться соблазну считать дни и часы, но это было бессрочным — если только однажды газета не принесет известия о смерти Алехандро Вильяри. А возможно, что Вильяри уже умер, и тогда теперешняя жизнь — сон. Эта возможность беспокоила его, потому что он не мог решить окончательно, было бы это облегчением или несчастьем; наконец он счел ее абсурдной и отверг. В давние дни, отдаленные не столько ходом времени, сколько двумя или тремя непоправимыми поступками, он жаждал множества вещей со страстью, ничем не сдерживаемой; эта могучая воля, когда-то движимая ненавистью к людям и любовью к некоей женщине, теперь не желала ничего — лишь длиться, не кончаясь. Вкуса мате, вкуса черного табака, растущей полосы тени, заполняющей двор, было достаточно.

В доме жила овчарка. Вильяри подружился с уже старым псом и вел с ним разговоры по-испански, по-итальянски, перемежая речь немногими деревенскими словами, которые сохранились в памяти с детства. Вильяри старался жить только настоящим, без воспоминаний или предчувствий; первые значили для него меньше, чем вторые. Он смутно ощущал, что прошлое — та материя, из которой создано время, поэтому-то оно тут же обращается в прошлое. Порой собственные мытарства казались ему счастьем; в такие моменты он бывал ненамного сложнее пса.

Однажды вечером его напугала и бросила в озноб вспышка боли в глубине рта. Это ужасное ощущение повторилось спустя несколько минут и еще раз на рассвете. На следующий день Вильяри послал за коляской, которая отвезла его к дантисту в Одиннадцатый квартал. Там ему выдернули коренной зуб. Во время этой процедуры он вел себя не трусливее и не тише других.

В другой раз, возвращаясь вечером из синематографа, он почувствовал, что его толкнули. Сердито, с возмущением, с тайной радостью он повернулся к наглецу. Скверно выругался, а тот, удивленный, пробормотал извинение. Это

был высокий молодой человек с темными волосами, его спутница походила на немку. Весь вечер Вильяри повторял себе, что эти люди незнакомы ему. Тем не менее прошло четыре или пять дней, прежде чем он появился на улице.

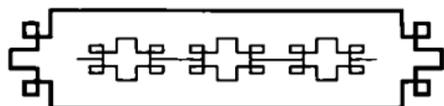
Среди книг на этажерке была «Божественная комедия» со старинным комментарием Андреоли. Скорее из чувства долга, чем из любопытства, Вильяри приступил к чтению этого великого произведения; до обеда он прочитывал песнь, а после, строго по порядку, примечания. Он не считал муки ада невероятными или чрезмерными, и ему не приходило в голову, что Данте поместил бы его в последний круг, где зубы Уголино без конца гложут затылок Руджери.

Павлины на алых обоях могли бы вызвать навязчивые кошмары, но сеньору Вильяри никогда не снилась чудовищная беседка из сплетающихся живых птиц. На рассвете ему всегда снился сон, по сути, один и тот же, но с меняющимися подробностями. Двое мужчин и Вильяри входили с револьверами в его комнату, или кидались на него, когда он выходил из синематографа, или иногда их бывало четверо — с незнакомцем, который его толкнул, они печально поджидали его во дворе и, казалось,

не узнавали. В конце сна он вытаскивал револьвер из ящика полированного стола, стоящего рядом (он и в самом деле хранил револьвер в этом ящике), и стрелял в этих людей. Грохот выстрела будил его, но всегда оказывался сном, и в другом сне схватка повторялась, и в другом сне ему опять приходилось убивать их.

Однажды туманным июльским утром его разбудило присутствие посторонних (дверь не скрипнула, когда ее отворили). Высокие в полутьме комнаты, странно уплощенные полумраком (в его кошмарах они виднелись отчетливее), настороженные, неподвижные и терпеливые, понурившись, будто под тяжестью оружия, Алехандро Вильяри и неизвестный в конце концов настигли его. Жестом он попросил их подождать и отвернулся к стене, как будто собираясь снова заснуть. Чтобы пробудить милосердие тех, кто готовился убить его? Или потому, что легче быть участником ужасного события, чем без конца воображать и дожидаться его? Или — и быть может, это самое вероятное — чтобы убийцы оказались сном, как уже случалось столько раз, на том же месте, в то же время?

Эту его мысль оборвали выстрелы.



Человек на пороге

Биой Касарес привез из Лондона странный кинжал с треугольным клинком и рукоятью в виде буквы Н, наш друг Кристофер Дьюи из Британского Совета сказал, что такое оружие распространено в Индостане. Вслед за этим он упомянул, что работал в той стране в период между двумя войнами (*Ultra Augusto et Gangem** — помню, произнес он по-латыни, переиначив стих Ювенала). Из историй, что он рассказал в ту ночь, я решаюсь передать следующую. Мой рассказ будет правдивым: да сохранит меня Аллах от искушения прибавить что-либо или усилить заимствованиями из

* У Ювенала «*usque Augusto et Gangem*», то есть «Вплоть до Востока, до Ганга...» (Сатиры, пер. Недовича Д.С. и Петровского Ф.А., Academia, М. — Л., 1937). Герой рассказа употребляет вместо «*usque*» «*ultra*» «за, по ту сторону». — *Примеч. пер.*

Киплинга экзотический облик повествования. Впрочем, аромат у этой истории, древней и простой, возможно, тот же, что и у «Тысячи и одной ночи», и было бы жаль его утратить.

Точная география событий, о которых я стану рассказывать, не имеет значения. Да и что могут значить в Буэнос-Айресе названия вроде Амритсара или Уда? Достаточно сказать, что в те годы в одном мусульманском городе были волнения, и правительство послало сильного человека, чтобы навести порядок. Это был шотландец из славного клана воинов, насилие было у него в крови. Я видел его всего один раз, но в памяти остались черные как смоль волосы, выступающие скулы, хищные нос и рот, широкие плечи, мощная осанка викинга. Давид Александр Гленкэрн — назовем его так этой ночью, — оба имени подходят, ибо это имена царей, правивших твердой рукою. Давид Александр (мне надо привыкнуть называть его так) был, думается, человеком, внушающим страх; одного известия о его прибытии хватило, чтобы успокоить город. Но это не помешало ему прибегнуть к энергичным мерам. Прошло несколько лет. Город и округ жили

мирной жизнью: сикхи и мусульмане оставили старые распри, как вдруг Гленкэрн исчез. Естественно, поползли слухи о том, что он был похищен или убит.

Я узнал об этом от своего шефа — цензура была суровой, и газеты не комментировали (насколько мне помнится, даже не упоминали) исчезновения Гленкэрна. Пословица гласит, что Индия больше, чем мир; Гленкэрн, возможно, всемогущий в городе, куда он был направлен подписью под приказом, был всего-навсего винтиком в механизме администрации империи. Расследование местной полиции оказалось безуспешным, мой шеф счел, что частное лицо возбудит меньше подозрений и сможет добиться лучших результатов. Три-четыре дня спустя (расстояния в Индии огромны) я без особых надежд бродил по улицам мрачного города, который поглотил человека. И почти сразу же ощутил некий молчаливый заговор, имеющий целью скрыть судьбу Гленкэрна. *Нет в этом городе (я мог поручиться) ни единого жителя, который не знал бы тайны и не поклялся хранить ее.* Большинство спрашиваемых обнаруживало полную неосведомленность; они не знали, кто такой Гленкэрн, никогда не

видели его и никогда о нем не слыхали. Другие, напротив, видели его четверть часа назад разговаривающим с таким-то и даже брались проводить меня к дому, куда они вошли и где оказывалось, что либо о них ничего не знали, либо они только что этот дом покинули. Одного из этих отъявленных лжецов я ударил кулаком в лицо. Свидетели разделили мое возмущение и тут же измыслили новую ложь. Я не верил, но должен был их выслушивать. Как-то вечером мне подбросили конверт с узкой полоской бумаги, на которой был написан адрес...

Когда я добрался туда, солнце садилось. Квартал был многолюдный и бедный; дом очень низкий; с тротуара я различил ряд немощных двориков и в глубине свет. В последнем дворе справляли какой-то мусульманский праздник; прошел слепой, держа лютню из красноватого дерева.

У моих ног, на пороге, неподвижный, как вещь, сидел на корточках очень старый человек. Я опишу его внешность, потому что это существенно для рассказа. Годы отшлифовали и отполировали его, как вода камень или поколения людей — пословицу. Его одежда со-

стояла, как мне показалось, из длинных лохмотьев, а тюрбан на голове был еще одним лоскутом. В полумраке он повернул ко мне темное лицо с очень белой бородой. Я сказал ему без каких бы то ни было вступлений, потому что потерял уже всякую надежду, о Давиде Александре Гленкэрне. Он не понял (или не слышал), и мне пришлось объяснять, что это судья и что я разыскиваю его. Говоря это, я чувствовал, как нелепо расспрашивать столь древнего старца, для которого настоящее — едва различимый шум. *Этот человек мог бы рассказать о Восстании или об Акбаре*, подумал я, *но не о Гленкэрне*. Его ответ подтвердил мои опасения.

— Судья? — сказал он с легким удивлением. — Судья, который пропал и которого ищут. Так случилось однажды, когда я был ребенком. Года я не помню, но еще не погиб Никал Сеин (Николсон) под стенами Дели. Время, которое уходит, остается в памяти; без сомнения, я могу вспомнить все, что тогда произошло. Бог позволил, в гневе своем, чтобы люди впали в грех; уста их изрекали проклятия, ложь и обман. Конечно, порочны были не все, и, когда пришла весть, что королева собирается при-

слать человека, который бы отправлял в этой стране законы Англии, те, в ком было меньше зла, обрадовались, потому что считали, что закон лучше беспорядка. Прибыл христианин и тут же стал нарушать свой долг и притеснять людей, покрывать отвратительные злодеяния и преступать закон. Сначала мы не винили его; английское правосудие, которому он служил, не было никому известно, и то, что казалось притеснениями, возможно, имело важные и пока скрытые причины. *В его книге всему есть оправдание*, хотели мы думать, но его сходство с неправедными судьями мира было слишком явным, и в конце концов нам пришлось признать, что он просто злодей. Он стал тираном, а бедный народ (чтобы отомстить за обманутые надежды, которые возлагались на судью) стал лелеять мысль о том, чтобы похитить и покарать его. Одних разговоров мало, от намерений перешли к делу. Никто, кроме, может быть, самых юных или самых простодушных, не верил, что этот безрассудный замысел может быть осуществлен, но тысячи сикхов и мусульман сдержали слово и однажды совершили, не веря себе, то, что каждому из них казалось невозможным. Они похитили судью и заперли

его в одном из отдаленных пригородов. Затем переговорыли с людьми, которым он нанес обиды, или (по крайней мере) с сиротами и вдовами, поскольку меч правосудия не знал в эти годы отдыха. Наконец — возможно, это было самым трудным — нашли и назначили судью, чтобы судить судью.

Тут его рассказ прервали женщины, входящие в дом. Он не спеша продолжал:

— Считается, что в каждом поколении есть по крайней мере четыре праведника, на которых незримо держится мир и которые служат его оправданием перед ликом Господа: один из таких людей был бы самым подходящим судьей. Но где найти их, если они безымянные ходят по свету, и мы не сумеем узнать их, если встретим, а они и сами не догадываются о высокой цели, которой служат? Тогда кто-то решил, что, если судьба отказывает нам в мудрецах, надо искать неразумных. Это мнение возобладало. Ученые, законники, сикхи, которых называют львами и которые чтят одного Бога, индуисты, которые поклоняются множеству богов, монахи Махавиры, которые учат, что вселенная имеет вид человека с расставленными ногами, огнепоклонники и черные евреи

вошли в состав суда, но вынести окончательный приговор было предоставлено сумасшедшему.

Здесь рассказ перебили несколько человек, возвращавшихся с празднества.

— Сумасшедшему, — повторил он, — потому что мудрость Бога говорит его устами и смиряет человеческую гордыню. Его имя забылось или никогда не было известно, но он ходил по улице нагим или в лохмотьях, пересчитывая свои пальцы и дразня деревья.

Мой здравый смысл восстал. Я сказал, что поручить решение сумасшедшему значило сделать процесс недействительным.

— Обвиняемый признал его судьей, — был ответ. — Возможно, он понимал, какой опасности подвергнутся заговорщики, отпустив его на свободу, и только сумасшедший мог не вынести ему смертный приговор. Я слышал, что он засмеялся, узнав, кто его судья. Процесс тянулся много дней и ночей из-за огромного числа свидетелей.

Он замолчал, чем-то обеспокоенный. Чтобы что-то сказать, я спросил, сколько дней.

— По меньшей мере девятнадцать, — ответил он.

Люди, возвращавшиеся с празднества, снова прервали его; вино запрещено мусульманам, но лица и голоса казались пьяными. Минуя нас, один из них что-то крикнул.

— Девятнадцать дней, точно, — повторил старик. — Неверный пес выслушал приговор, и нож вонзился в его горло. — Он проговорил это со свирепой веселостью. И прежним тоном досказал конец истории: — Он умер без страха; и в самых низких людях бывает достоинство.

— Где произошло то, о чем ты рассказываешь? — спросил я. — В отдаленном пригороде?

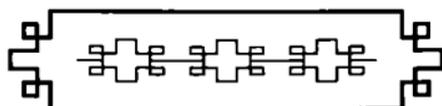
В первый раз он посмотрел мне в глаза. Потом неспешно ответил, взвешивая каждое слово:

— Я говорил, что его держали в заключении в отдаленном пригороде, но не судили. А судили в этом городе: в таком же доме, как другие, как вот этот. Дома ничем не отличаются друг от друга: важно лишь знать, где построен дом, в аду или на небе.

Я спросил его о судьбах заговорщиков.

— Не знаю, — терпеливо отвечал он. — Это произошло и уже забылось столько лет назад. Возможно, люди осудили их, но не Бог.

Сказав так, он поднялся. Я понял, что это были прощальные слова и что с этой минуты я перестал существовать для него. Бормоча и распевая, толпа мужчин и женщин всех национальностей Пенджаба прокатилась через нас и чуть не увлекла за собою: мне показалось удивительным, что из таких тесных, ненамного просторнее подъезда, двориков, может появиться столько народу. Из соседних домов выходили еще люди, наверняка они перелезли через изгородь. Раздавая толчки и ругаясь, я проложил себе дорогу. И в последнем дворе наткнулся на обнаженного человека в венке из желтых цветов, держащего в руке саблю, которого все приветствовали и целовали. Сабля была в крови, потому что ею был убит Гленкэрн, чей изуродованный труп я обнаружил в конюшне в глубине двора.



Алеф

Эстеле Канто

O God, I could be bounded in a nutshell and
count *myself a King of infinite space**.

«Гамлет», II, 2

But they will teach us that Eternity is the
Standing still of the Present Time, a Nunc-stans
(as the Schools call it); which neither they, nor
any else understand, no more than they would a
Hic-stans for an Infinite greatness of Place...**

«Левиафан», IV, 46

В то знойное февральское утро, когда умер-
ла Беатрис Витербо — после величавой агонии,

* О Боже, я бы мог замкнуться в ореховой скор-
лупе и считать себя царем бесконечного простран-
ства (*англ.*; перевод М. Лозинского).

** Но они хотят учить нас, что вечность есть за-
стывшее настоящее, Nunc-stans (застывшее теперь),
как называют это школы; и этот термин как для них

ни на миг не унизившейся до сентиментальности или страха, — я заметил, что на металлических рекламных щитах на площади Конституции появилась новая реклама легких сигарет; мне стало грустно — я понял, что неутомонный, обширный мир уже отделился от нее и что эта перемена лишь первая в бесконечном ряду. Мир будет изменяться, но я не изменюсь, подумал я с меланхолическим тщеславием; я знаю, что моя тщетная преданность порой ее раздражала; теперь, когда она мертва, я могу посвятить себя ее памяти без надежды, но и без унижения. Я вспомнил, что тридцатого апреля день ее рождения; посетить в этот день дом на улице Гарая, чтобы приветствовать ее отца и Карлоса Архентино Данери, ее кузена, будет вежливо, благовоспитанно и, пожалуй, необходимо. Опять я буду ждать в полутьме маленькой заставленной гостиной, опять буду изучать подробности многочисленных ее фотографий. Беатрис Витербо в профиль, цветное фото, Беатрис в маске на карнавале в

самых, так и для кого-либо другого не более понятен, чем если бы они обозначали бесконечность пространства словом *Nic-stans* (застывшее здесь) (*англ.*; перевод под ред. А. Ческиса).

1921 году, Беатрис в день первого причастия, Беатрис в день ее свадьбы с Роберто Александри; Беатрис вскоре после развода на завтраке в конном клубе; Беатрис в Кильмесе с Делией Сан-Марко Порсель и Карлосом Архентино; Беатрис с пекинесом, подаренным ей Вильегасом Аэдо; Беатрис анфас и в три четверти, улыбающаяся, подпирающая рукою подбородок... Мне уже не придется, как в прежние времена, в оправдание своего присутствия преподносить недорогие книги — книги, страницы которых я в конце концов догадался заранее разрезать, чтобы много месяцев спустя не убеждаться, что никто их не касался.

Беатрис Витербо умерла в 1929 году, и с тех пор я ни разу не пропускал тридцатое апреля, неизменно навещая ее родных. Приходил обычно в четверть восьмого и сидел минут двадцать пять; с каждым годом я являлся чуть позже и засиживался подольше; в 1933 году мне помог ливень — меня пригласили к столу. Я, естественно, не пренебрег этим прецедентом — в 1934 году явился уже после восьми с тортом из Санта-Фе и, само собой, остался ужинать. Так, в эти наполненные меланхолией и тщетным любовным томлением дни годовщин я

постепенно выслушивал все более доверительные признания Карлоса Архентино Данери.

Беатрис была высокого роста, хрупкая, чуть-чуть сутулящаяся: в ее походке (если тут уместен оксюморон) была какая-то грациозная неуклюжесть, источник очарования. Карлос Архентино — румяный, тучный, седеющий господин с тонкими чертами лица. Он занимает маленькую должность в захудалой библиотеке на южной окраине города; характер у него властный, но в то же время недеятельный — до самого недавнего времени он вечерами и в праздники был рад не выходить из дому. Пройдя через два поколения, у него сохранились итальянское «с» и чрезмерная итальянская жестикуляция. Ум его находится в постоянном возбуждении, страстном, подвижном и совершенно бестолковом. Вас засыпают никчемными аналогиями и праздными сомнениями. У него (как у Беатрис) красивые, крупные руки с тонкими пальцами. Несколько месяцев он был одержим поэзией Поля Фора — не столько из-за его баллад, сколько из-за идеи о незапятнанной славе. «Он — король французских поэтов, — напыщенно повторял Карлос Архентино. — И не думай его критико-

вать, самая ядовитая из твоих стрел его даже не заденет».

Тридцатого апреля 1941 года я позволил себе прибавить к тортю бутылку отечественного коньяку. Карлос Архентино отведал его, нашел недурным и после нескольких рюмок повел речь в защиту современного человека.

— Я так и вижу его, — говорил он с не вполне понятной горячностью, — в его кабинете в этой, я сказал бы, сторожевой башне города, в окружении телефонов, телеграфных аппаратов, фонографов, радиотелефонов, киноаппаратов, проектов, словарей, расписаний, проспектов, бюллетеней...

И он заявил, что человеку, всем этим оснащенному, незачем путешествовать, — наш двадцатый век, дескать, перевернул притчу о Магомете и горе, ныне все горы сами сходятся к современному Магомету.

Мне его мысли показались настолько нелепыми, а изложение настолько высокопарным, что я тотчас подумал о писательстве и спросил, почему он все это не напишет. Как и можно было ожидать, он ответил, что уже пишет: эти мысли и другие, не менее оригинальные, изложены в «Начальной Песне», «Всту-

пительной Песне», или попросту «Песне-Прологе», поэмы, над которой он работает много лет, без, знаете ли, рекламы, без оглушительного треска, неизменно опираясь на два посоха, имя коим труд и уединение. Вначале он широко открывает двери воображению, затем шлифует. Поэма называется «Земля», и это, ни много ни мало, описание нашей планеты, в котором, разумеется, нет недостатка и в ярких отступлениях, и в смелых инвективах.

Я попросил его прочитать мне отрывок из поэмы, пусть небольшой. Он выдвинул ящик письменного стола, вынул объемистую стопку листов со штампом «Библиотека Хуана Крисостомо Лафинура» и самодовольным звучным голосом прочел:

Подобно греку, я народы зрел и страны,
Труды и дни прошел, изведал грязь и амбру;
Не приукрасив дел, не подменив имен,
Пишу я свой вояж, но... *autour de ma chambre**.

— Эта строфа интересна во многих смыслах, — изрек он. — Первый стих должен снискать одобрение профессора, академика, эллиниста — пусть и не скороспелых эрудитов,

* Вокруг собственной комнаты (фр.).

составляющих, правда, изрядную часть общества; второй — это переход от Гомера к Гесиоду (на фронтоне воздвигаемого здания воздается между строк дань отцу дидактической поэзии), не без попытки обновить прием, ведущий свою генеалогию от Писания — сиречь перечисление, накопление или нагромождение; третий стих — идет он от барокко, декаданса или от чистого и беззаветного культа формы? — состоит из двух полустистишь-близнецов; четвертый, откровенно двуязычный, обеспечит мне безусловную поддержку всех, кто чувствует непринужденную игру шуточного слога. Уж не буду говорить о рифмах и о кругозоре, который позволил мне — причем без педантства! — собрать в четырех стихах три ученые аллюзии, охватывающие тридцать веков, насыщенных литературой: первая аллюзия на «Одиссею», вторая на «Труды и дни», третья на бессмертную безделку, которою мы обязаны досугам славного савояра... И кому же, как не мне, знать, что современное искусство нуждается в бальзаме смеха, в *scherzo**. Решительно тут слово имеет Гольдони!

* Шутка (*um.*).

Он прочел мне многие другие строфы, также получившие его одобрение и снабженные пространными комментариями. Ничего примечательного в них не было, они даже показались мне не намного хуже первой. В его писаниях сочетались прилежание, не-требовательность и случай; достоинства же, которые Данери в них находил, были вторичным продуктом. Я понял, что труд поэта часто обращен не на саму поэзию, но на изобретение доказательств, что его поэзия превосходна; естественно, эта последующая работа представляла творение иным в его глазах, но не в глазах других. Устная речь Данери была экстравагантной, но его беспомощность в стихосложении помешала ему, кроме считанных случаев, внести эту экстравагантность в поэму*.

* Вспоминаю, однако, сатирические строки, в которых он беспощадно бичует плохих поэтов:

У одного словес ученых пустота,
 Другой слепит, гремит мишурными стихами,
 Но оба лишь зазря без толку бьют крылами,
 Забыли, что важнейший фактор — КРАСОТА!

Лишь опасение породить полчища беспощадных и влиятельных врагов удержало его (говорил он мне) от безоглядной публикации поэмы.

Только раз в жизни мне довелось видеть пятнадцать тысяч одиннадцатисложных стихов «Полиооль-биона», топографической эпопеи, в которой Майкл Дрейтон представил фауну, флору, гидрографию, орографию, военную и монастырскую историю Англии; я убежден, что это творение грандиозное, но все же имеющее границы, менее скучно, чем беспредельный родственный замысел Карлоса Архентино. Этот собирался объять стихами весь шар земной: в 1941 году он уже управился с несколькими гектарами штата Квинсленд, более чем с километром течения Оби, с газгольдером севернее Веракруса, с главными торговыми домами в приходе Концепсьон, с загородным домом Марианы Камбасерес де Альвеар на улице Одиннадцатого Сентября в Бельграно, с турецкими банями вблизи одного пляжа в Брайтоне. Он прочитал мне несколько трудоемких пассажей из австралийской зоны поэмы — в этих длинных, бесформенных александрийских стихах не было даже относительной живости вступления. Привожу одну строфу:

Так знайте: от столба рутинного правей
(Он кажет путь тебе, коль путник ты не
местный)

Скучает там костяк. — А цвет? —

Бело-небесный. —

И вот загон овец — что твой погост, ей-ей!

— Тут две смелые черточки, — вскричал он с ликованием, — я слышу, ты уже ворчишь, но, поверь, их оправдывает неминуемый успех. Одна — это эпитет «рутинный», который метко изобличает *en passant** неизбежную скуку, присущую пастушеским и земледельческим трудам, скуку, которую ни «Георгики», ни наш увенчанный лаврами «Дон Сегундо» никогда не посмели изобличить вот так, черным по белому. Вторая — это энергичный прозаизм «костяк» — от него с ужасом отшатнется привередник, но его найдет выше всяких похвал критик со вкусом мужественным. Да и в остальном эта строфа чрезвычайно полновесна. Во второй ее половине завязывается интереснейший разговор с читателем: мы идем навстречу его живому любопытству, в его уста вкладывается вопрос, и ответ дается тут же, мгновенно. А что ты скажешь про эту находку, про «бело-небесный»? Этот живописный неологизм вызывает образ неба, то есть важнейшего элемента авс-

* Мимоходом (*фр.*).

тралийского пейзажа. Без него краски эскиза были бы слишком мрачны, и читатель невольно захлопнул бы книгу, уязвленный до глубины души неизлечимой черной меланхолией.

Я распрощался с ним около полуночи.

Через два воскресенья Данери позвонил мне по телефону — впервые в жизни. Он предложил встретиться в четверг, «попить вместе молочка в соседнем салоне-баре, который прогрессивные дельцы Дзунино и Дзунгри — владельцы моего дома, как ты помнишь, — открывают на углу. Эту кондитерскую тебе будет полезно узнать». Я согласился, больше по неспособности противиться, чем из энтузиазма. Найти столик оказалось нелегко: безусловно современный «салон-бар» был почти так же неуютен, как я предвидел; посетители за соседними столиками возбужденно называли суммы, затраченные на него господами Дзунино и Дзунгри. Карлос Архентино сделал вид, будто поражен какими-то красотами освещения (которые он, конечно, уже видел раньше), и сказал мне с долей суровости:

— Хочешь не хочешь, тебе придется признать, что это заведение может соперничать с самыми шикарными барами Флореса.

Затем он во второй раз прочитал мне четыре-пять страниц из поэмы. В них были сделаны исправления по ложному принципу украшательства: где раньше стояло «голубой», теперь красовались «голубоватый», «лазоревый», «лазурный». Слово «молочный» было для него недостаточно звучным — в необузданном описании процесса мойки шерсти он предпочел «млечный», «молочайный», «лактальный»... С горечью выбранил критиков, затем, смягчившись, сравнил их с людьми, «которые не обладают ни драгоценными металлами, ни паровыми прессами, ни прокатными станками, ни серной кислотой для чеканки, но могут указать другим местонахождение какого-либо сокровища». Далее он осудил «прологоманию, которую уже высмеял в остроумном предисловии к «Дон Кихоту» Князь Талантов». Тем не менее он полагал, что его новое творение должно начинаться с яркого предисловия, этакого посвящения в рыцари, подписанного обладателем бойкого, острого пера. Он прибавил, что собирается опубликовать начальные песни своей поэмы. Тут-то я догадался о смысле странного приглашения по телефону: он хочет просить меня, чтобы я написал предисловие к его пе-

дантской дребедени! Страх мой оказался напрасным; Карлос Архентино с завистливым восхищением заявил: он-де полагает, что не ошибется, назвав солидным авторитет, завоеванный во всех кругах литератором Альваро Мельяном Лафинуром, который, если я похлопочу, мог бы снабдить поэму увлекательным предисловием. Дабы избежать совершенно непростительной в этом деле неудачи, я должен сослаться на два бесспорных достоинства: совершенство формы и научную точность, «ибо в этом обширном цветнике тропов, фигур и всяческих красот нет ни одной детали, не выверенной тщательнейшим изучением». Он прибавил, что Альваро был постоянным спутником Беатрис во всяких увеселениях.

Я поспешно и многословно согласился. Для пущего правдоподобия сказал, что буду говорить с Альваро не в понедельник, а в четверг на скромном ужине, которым обычно завершаются собрания Клуба писателей. (Ужинов таких не бывает, но то, что собрания происходят по четвергам, этот неоспоримый факт мог быть Карлосом Архентино Данери проверен по газетам и придавал моим речам правдоподобие.) С видом глубокомысленным и понимающим я

сказал, что, прежде чем заговорить о предисловии, я намерен изложить оригинальный план поэмы. Мы простились: сворачивая на улицу Бернардо де Иригойена, я со всей ясностью представил себе две оставшиеся у меня возможности: а) поговорить с Альваро и сказать ему, что известный ему кузен Беатрис (при этом описательном обороте я смогу произнести ее имя) соорудил поэму, которая, кажется, расширила до беспредельного возможности какофонии и хаоса; б) не говорить с Альваро. И я совершенно четко предвидел, что мой бездеятельный характер изберет «б».

В пятницу, с часу дня, меня начал беспокоить телефон. Я возмущался, что этот аппарат, из которого когда-то звучал навек умолкший голос Беатрис, может унизиться, став рупором тщетных и, вероятно, гневных упреков обманутого Карлоса Архентино Данери. К счастью, ничего не произошло — у меня только возникла неизбежная неприязнь к этому человеку, навязавшему мне деликатное поручение, а затем меня забывшему.

Телефон перестал меня терроризировать, но в конце октября Карлос Архентино вдруг опять позвонил. Он был в крайнем волнении,

сперва я даже не узнал его голоса. Со скорбью и гневом, запинаясь, он сообщил, что эти распоясавшиеся Дзунино и Дзунгри под предлогом расширения своей уродливой кондитерской собираются снести его дом.

— Дом моих предков, мой дом, почтенный дом, состарившийся на улице Гарая! — повторял он, отвлекаясь, видимо, от горя музыкой слов.

Мне было нетрудно понять и разделить его скорбь. После сорока любая перемена — символ удручающего бега времени; кроме того, речь шла о доме, который был для меня связан бесчисленными нитями с Беатрис. Я хотел было изложить это тонкое обстоятельство, но мой собеседник меня не слушал. Он сказал, что, если Дзунино и Дзунгри будут настаивать на своей абсурдной затее, его адвокат, доктор Дзунни, потребует с них *ipso facto** за потери и убытки и заставит выплатить сто тысяч песо.

Имя Дзунни произвело на меня впечатление — солидная репутация его контор в Касересе и Бакуари вошла в поговорку. Я спросил, взялся ли Дзунни вести дело. Данери сказал, что будет с ним об этом говорить нынче вечером. Он немного замялся, потом голосом ров-

* Самим фактом (*лат.*). Здесь: возмещение.

ным, бесцветным, каким мы обычно сообщаем что-то глубоко интимное, сказал, что для окончания поэмы ему необходим этот дом, так как в одном из углов подвала находится Алеф. Он объяснил, что Алеф — одна из точек пространства, в которой собраны все прочие точки.

— Он находился в подвале под столовой, — продолжал Карлос Архентино, став от горя красноречивым. — Он мой, он мой, я открыл его в детстве, еще до того, как пошел в школу. Лестница в подвал крутая, дядя и тетя запрещали мне спускаться, но кто-то сказал, что в подвале находится целый мир. Как я узнал впоследствии, речь шла о сундуке, но тогда я понял буквально, что там есть целый мир. Тайком я спустился, скатился по запретной лестнице, упал. А когда открыл глаза, то увидел Алеф.

— Алеф? — переспросил я.

— Да. Алеф. Место, в котором, не смешиваясь, находятся все места земного шара, и видишь их там со всех сторон. Я никому не рассказал о своем открытии, но пошел в подвал еще и еще. Ребенок, конечно, не понимал, что эта привилегия ему дарована, чтобы, став мужчиной, он создал поэму! Нет, Дзунино и Дзунгри меня не ограбят, тысячу раз нет! Со сводом

законов в руках доктор Дзунни докажет, что мой Алеф «неотчуждаем».

Я попытался воззвать к здравому смыслу:

— Но может быть, в подвале слишком темно?

— Да, нелегко истине проникнуть в сопротивляющийся ум. Но ведь если в Алефе находятся все места земли, стало быть, там же находятся и все фонари, лампы, все источники света.

— Сейчас же приду посмотреть на него.

Я положил трубку, не дав ему времени возразить. Порой достаточно узнать один факт, и мгновенно видишь ряд подтверждающих обстоятельств, о которых прежде и не подозревал; я удивился, как это я до сих пор не понимал, что Карлос Архентино сумасшедший. Впрочем, все Витербо... Беатрис (я сам это часто повторяю) была женщиной — а прежде девушкой — прямо-таки беспощадно здравомыслящей, однако на нее находили приступы забывчивости, отчужденности, презрения, даже настоящей жестокости, которые, вероятно, объяснялись какой-то патологией. Безумие Карлоса Архентино наполнило меня злобным удовлетворением — в глубине души мы всегда друг друга ненавидели.

На улице Гарая прислуга попросила меня немного подождать. Барин, как обычно, сидит в подвале, проявляет снимки. Рядом с вазой без цветов на ненужном теперь пианино улыбался (скорее вневременной, чем анахронический) большой портрет Беатрис в неприятно-резких тонах. Нас никто не видел; в порыве нежности я подошел к портрету и сказал:

— Беатрис, Беатрис Элена, Беатрис Элена Витербо, любимая моя Беатрис, навсегда утраченная Беатрис, это я, Борхес.

Вскоре появился Карлос. Говорил со мною сухо, и я понял, что он не способен думать ни о чем ином, кроме того, что теряет Алеф.

— Рюмочку этого псевдоконьяка, — распорядился он, — и можешь нырять в подвал. Помни, надо обязательно находиться в горизонтальном положении, лежать на спине. Также необходимы темнота, неподвижность, время на аккомодацию глаз. Ты ляжешь на каменный пол и будешь смотреть на девятнадцатую ступеньку лестницы. Я поднимусь, закрою крышку, и ты останешься один. Тебя, может быть, испугает какой-нибудь грызун — дело обычное! Через несколько минут увидишь Алеф. Микрокосм алхимиков и каббалистов, наш пресло-

вутый давний друг, *multum in parvo**. — И уже в столовой он прибавил: — Разумеется, если ты его не увидишь, твоя неспособность отнюдь не будет опровержением моих данных... Спускайся, очень скоро ты сумеешь побеседовать с Беатрис во всех ее обликах.

Я поспешно сошел по лестнице, меня уже тошнило от его болтовни. Подвал, размером чуть пошире лестницы, больше напоминал колодец. Я напрасно искал глазами сундук, о котором говорил Карлос Архентино. Один из углов загромождали ящики с бутылками и парусиновые мешки. Карлос взял мешок, свернул его и положил на пол, видимо, в определенном месте.

— Подушка незавидная, — пояснил он, — но, если я сделаю ее выше хоть на один сантиметр, ты ни черта не увидишь, только расстроишься и сконфузишься. Ну давай ложись, хорошенько расслабься и отсчитай девятнадцать ступенек.

Я выполнил его странные требования, он наконец ушел и осторожно опустил крышку — темнота, несмотря на узенькую щель, которую я потом заметил, показалась мне абсолютной.

* Много в малом (*лат.*).

Внезапно мне стала ясна вся опасность моего положения — я разрешил запереть себя в подвале сумасшедшему, после того как выпил яд. В бравадах Карлоса сквозил тайный страх, что я могу не увидеть чуда; чтобы оправдать свой бред, чтобы не услышать, что он сумасшедший, Карлос должен меня убить. Я почувствовал некоторую дурноту и постарался объяснить ее своей неподвижностью, а не действием наркотика. Я закрыл глаза, потом открыл их. И тут я увидел Алеф.

Теперь я подхожу к непересказуемому моменту моего повествования и признаюсь в своем писательском бессилии. Всякий язык представляет собою алфавит символов, употребление которых предполагает некое общее с собеседником прошлое. Но как описать другим Алеф, чья беспредельность непостижима и для моего робкого разума? Мистики в подобных случаях пользуются эмблемами: перс, чтобы обозначить божество, говорит о птице, которая каким-то образом есть все птицы сразу; Аланус де Инсулис — о сфере, центр которой находится всюду, а окружность нигде; Иезекииль — об ангеле с четырьмя лицами, который одновременно обращается к Востоку и Западу, к Северу и Югу. (Я не зря привожу эти малопонятные

аналогии, они имеют некоторое отношение к Алефу.) Быть может, боги не откажут мне в милости, и я когда-нибудь найду равноценный образ, но до тех пор в моем сообщении неизбежен налет литературщины, фальши. Кроме того, неразрешима главная проблема: перечисление, пусть неполное, бесконечного множества. В грандиозный этот миг я увидел миллионы явлений — радующих глаз и ужасающих, — ни одно из них не удивило меня так, как тот факт, что все они происходили в одном месте, не накладываясь одно на другое и не будучи прозрачными. То, что видели мои глаза, совершалось одновременно, но в моем описании предстанет в последовательности — таков закон языка. Кое-что я все же назову.

На нижней поверхности ступеньки, с правой стороны, я увидел маленький, радужно отсвечивающий шарик ослепительной яркости. Сперва мне показалось, будто он вращается, потом я понял, что иллюзия движения вызвана заключенными в нем поразительными, умопомрачительными сценами. В диаметре Алеф имел два-три сантиметра, но было в нем все пространство вселенной, причем ничуть не уменьшенное. Каждый предмет (например, стеклянное зеркало) был бесконечным мно-

жеством предметов, потому что я его ясно видел со всех точек вселенной. Я видел густонаселенное море, видел рассвет и закат, видел толпы жителей Америки, видел серебристую паутину внутри черной пирамиды, видел разрушенный лабиринт (это был Лондон), видел бесконечное число глаз рядом с собою, которые вглядывались в меня, как в зеркало, видел все зеркала нашей планеты, и ни одно из них не отражало меня, видел в заднем дворе на улице Солера те же каменные плиты, какие видел тридцать лет назад в прихожей одного дома на улице Фрая Бентона, видел лозы, снег, табак, рудные жилы, испарения воды, видел выпуклые экваториальные пустыни и каждую их песчинку, видел в Инвернесе женщину, которую никогда не забуду, видел ее пышные волосы, гордое тело, видел рак на груди, видел круг сухой земли на тротуаре, где прежде было дерево, видел загородный дом в Адрогге, экземпляр первого английского перевода Плиния, сделанного Файлмоном Голландом, видел одновременно каждую букву на каждой странице (мальчиком я удивлялся, почему буквы в книге, когда ее закрывают, не смешиваются ночью и не теряются), видел ночь и тут же день, видел закат в Керетаро, в котором словно бы отражался

цвет одной бенгальской розы, видел мою пустую спальню, видел в одном научном кабинете в Алкмаре глобус между двумя зеркалами, бесконечно его отражавшими, видел лошадей с развевающимися гривами на берегу Каспийского моря на заре, видел изящный костяк ладони, видел уцелевших после битвы, посылавших открытки, видел в витрине Мирсапура испанскую колоду карт, видел косые тени папоротников в зимнем саду, видел тигров, тромбы, бизонов, морские бури и армии, видел всех муравьев, сколько их есть на земле, видел персидскую астролябию, видел в ящике письменного стола (от почерка меня бросило в дрожь) непристойные, немислимые, убийственно точные письма Беатрис, адресованные Карлосу Архентино, видел священный памятник в Чакарите, видел жуткие останки того, что было упоительной Беатрис Витербо, видел циркуляцию моей темной крови, видел слияние в любви и изменения, причиняемые смертью, видел Алеф, видел со всех точек в Алефе земной шар, и в земном шаре опять Алеф, и в Алефе земной шар, видел свое лицо и свои внутренности, видел твое лицо; потом у меня закружилась голова, и я заплакал, потому что глаза мои увидели

это таинственное, предполагаемое нечто, чьим именем завладели люди, хотя ни один человек его не видел: непостижимую вселенную.

Я почувствовал бесконечное преклонение, бесконечную жалость.

— Да ты совсем обалдеешь, если будешь так долго совать свой нос, куда не просят, — сказал ненавистный жизнерадостный голос. — Сколько ни ломай голову, тебе вовек не отплатить мне за такое чудо. Потрясающая обсерватория, ты согласен, Борхес?

Ботинки Карлоса Архентино стояли на самой верхней ступеньке. Внезапно стало чуть светлее, и я с трудом поднялся и пробормотал:

— Да-да, потрясающая, потрясающая.

Безразличное звучание моего голоса удивило меня. Карлос Архентино с тревогой допытывался:

— Ты хорошо все видел? В цвете?

В единый миг я составил план мести. Добродушно, с неприкрытой жалостью, как бы нервничая и уклоняясь, я поблагодарил Карлоса Архентино за приют в его подвале и настойчиво посоветовал воспользоваться сносом дома, чтобы покинуть вредный воздух столицы, который никого — поверьте, никого! — не

щадит. Мягко, но непреклонно я отказался говорить об Алефе, обнял Карлоса Архентино на прощание и повторил, что сельская жизнь и покой — это два замечательных врача.

На улице, на лестнице Конституции, в метро все лица казались мне знакомыми. Я испугался, что ни одно меня больше не удивит, испугался, что меня никогда не оставит чувство, что все это я уже видел. К счастью, после нескольких ночей бессонницы забвение снова меня одолело.

Постскриптум первого марта 1943 года. Через полгода после того как снесли дом на улице Гарая, издательство «Прокруст», не убоившись длины грандиозной поэмы, выпустило в продажу подборку «аргентинских фрагментов». Что было дальше, излишне говорить: Карлос Архентино Данери получил вторую Национальную премию по литературе*. Первую дали доктору Аите; третью — доктору Ма-

* «Я получил Ваше вымученное поздравление, — писал он мне. — Жалкий мой друг. Вы лопаетесь от зависти, но Вы должны признать — хоть убейтесь! — что на сей раз я сумел украсить свой берет самым ярким пером и свой тюрбан — халифом всех рубинов».

рио Бонфанти; трудно поверить, но мое произведение «Карты шулера» не получило ни одного голоса. Еще раз победили тупость и зависть! Мне давно не удается повидать Данери, газеты оповещают, что вскоре он нас одарит еще одной книгой. Его удачливое перо (которому теперь уже не мешает Алеф) принялось за стихотворное переложение творений доктора Асеведо Диаса.

Я хотел бы еще сделать два замечания: одно касающееся сущности Алефа, другое — его названия. Что до последнего, то, как известно, это название первой буквы в алфавите священного языка. Применение его к шарикку в моей истории, по-видимому, не случайно. В каббале эта буква обозначает Эн-соф — безграничную чистую божественность; говорится также, что она имеет очертания человека, указывающего на небо и на землю и тем свидетельствующего, что нижний мир есть зеркало и карта мира горнего; в Mengenlehre* Алеф — символ трансфинитных множеств, где целое не больше, чем какая-либо из частей. Хотелось бы мне знать, подобрал ли Карлос Архентино это название сам или же вычитал его *как наименование какой-то другой*

* Теория множеств (нем.).

точки, где сходятся все точки, в одном из бесчисленных текстов, открывшихся ему благодаря его домашнему Алефу. Как ни покажется невероятным, я полагаю, что существует (или существовал) другой Алеф и что Алеф на улице Гарая — это фальшивый Алеф.

Приведу мои доводы. Капитан Бертон исполнял до 1867 года обязанности британского консула в Бразилии; в июле 1942 года Педро Энрикес Уренья обнаружил в библиотеке города Сантуса его рукопись, трактующую о зеркале, владельцем которого Восток называет Искандера Зу-л-Карнайна, или Александра Двурогого Македонского. В зеркале этом отражалась вся вселенная. Бертон упоминает о родственниках диковинах — о семикратном зеркале Кай Хусроу, которое Тарик ибн-Зияд обнаружил в захваченном дворце («Тысяча и одна ночь», 273), о зеркале, которое Лукиан из Самосаты видел на Луне («Правдивая история», I, 26), о волшебном копье Юпитера, о котором говорится в первой книге «Сатирикона» Капеллы, об универсальном зеркале Мерлина, «круглом, вогнутом и похожем на целый стеклянный мир» («The Faerie Queene»*, III,

* «Королева фей» (англ.).

2,19), — и прибавляет следующие любопытные слова: «Однако все перечисленные зеркала (к тому же несуществовавшие) — это всего лишь оптические приборы. А правоверным, посещающим мечеть Амра в Каире, доподлинно известно, что вселенная находится внутри одной из колонн, окаймляющих центральный двор мечети... Разумеется, видеть ее не дано никому, но те, кто прикладывает ухо к колонне, говорят, что вскоре начинают слышать смутный гул движения Вселенной... Мечеть сооружена в седьмом веке, но колонны эти были взяты из других храмов доисламских религий, как пишет о том Ибн Хальдун: “Государства, основанные кочевниками, нуждаются в притоке чужестранцев для всевозможных строительных работ”».

Существует ли этот Алеф внутри камня? Видел ли я его, когда видел все — а потом забыл? Память наша подтачивается забвением — я сам, под действием роковой этой эрозии, с годами все больше искажаю и утрачиваю черты Беатрис.

Содержание

Бессмертный. <i>Перевод Л. Синянской</i>	3
Мертвый. <i>Перевод М. Былинкиной</i>	32
Богословы. <i>Перевод Е. Лысенко</i>	42
История воина и пленницы. <i>Перевод</i> <i>Л. Синянской</i>	59
Биография Тадео Исидора Круса. <i>Перевод</i> <i>Л. Синянской</i>	68
Эмма Цунц. <i>Перевод М. Былинкиной</i>	75
Дом Астерия. <i>Перевод В. Кулагиной-</i> <i>Ярцевой</i>	86
Другая смерть. <i>Перевод М. Былинкиной</i>	91
Deutsches Requiem. <i>Перевод Б. Дубина</i>	104
Поиски Аверроэса. <i>Перевод Е. Лысенко</i>	116
Заир. <i>Перевод Л. Синянской</i>	132
Послание Бога. <i>Перевод Ю. Ванникова</i>	150
Абенхакан эль Бохари, погибший в своем лабиринте. <i>Перевод В. Кулагиной-</i> <i>Ярцевой</i>	160
Два царя и два их лабиринта. <i>Перевод</i> <i>Б. Дубина</i>	176
Ожидание. <i>Перевод В. Кулагиной-Ярцевой</i>	178
Человек на пороге. <i>Перевод В. Кулагиной-</i> <i>Ярцевой</i>	185
Алеф. <i>Перевод Е. Лысенко</i>	195

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

12+

Борхес Хорхе Луис

Алеф

Сборник

Компьютерная верстка: Р.В. Рыдалин
Технический редактор О.В. Панкрашина

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Подписано в печать 11.11.14. Формат 76x100 ¹/₃₂.
Усл. печ. л. 9, 8. Доп. тираж 5000 экз. Заказ № 8136.

ООО «Издательство АСТ»

129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 3, комната 5

Наш электронный адрес: www.ast.ru

E-mail: astpub@aha.ru

«Баспа Аста» деген ООО

129085, г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 3 құрылым, 5 бөлме

Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru

E-mail: astpub@aha.ru

Қазақстан Республикасында дистрибьютор
және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92

Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей

Сертификация қарастырылмаған

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Хорхе Луис Борхес (1899 – 1986) – один из величайших писателей XX века, «отец-основатель» латиноамериканского магического реализма, лауреат шестнадцати престижнейших литературных премий – как национальных, так и международных.

Влияние, оказанное им на мировую литературу, трудно переоценить. Более тридцати его произведений были экранизированы, в том числе самим Бернардо Бертолуччи. Кумир интеллектуалов, создатель уникального стиля, гений рассказа, – о Борхесе можно говорить много. Но лучше все же читать.

ХОРХЕ ЛУИС

БОРХЕС



Один из лучших сборников Борхеса. Помимо заглавного «Алефа», в него вошли «Два царя и два их лабиринта», «Эмма Цунц» и другие жемчужины литературного наследия великого аргентинца.

В этих рассказах Борхес обращается к мотиву поиска – поиска смысла жизни, Бога, истины, высшего начала, человеческой души, любви, бессмертия, покоя. Впрочем, предмет поиска – не самое важное. Важно, что герои произведений Борхеса не просто задаются «проклятыми вопросами», но заставляют и читателя искать ответы.

ISBN 978-5-17-083721-2



9 785170 837212



АЛЕФ

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А